

Владимир Алейников

Отец

... Он был невероятно музыкален, мой отец, как-то грандиозно, всеобъемлюще музыкален, музыкален — весь, целиком, настолько зримо, и слышимо, и очевидно, так щедро, так впечатляюще, так сказочно и загадочно, что порою (особенно в те минуты, а то и часы, когда ощущал он прилив долгожданного, драгоценного вдохновения, и музыка изливалась из глаз его, словно сияние, и всё озарялось вокруг этим редкостным, дивным сиянием, и всё совершенно, в доме, во дворе, в саду и на улице, на что лишь взглядывал он, к чему он едва прикасался, тут же преображалось, начинало мгновенно жить какою-то новой, особенной, исполненной высшего смысла, пленительной, чистой жизнью) мне казался он то ли выходящим из каких-то неведомых стран, то ли впрямь лучезарным пришельцем из далёких, прекрасных миров, то ли попросту воплощённой в нём, конкретном, родном человеке, частицей в нём отражённого, вечно звучащего космоса, — и слух у него, слух — дух, слух — свет, слух — сплошное творчество, слух — жречество, слух — волшебство, как мне теперь представляется, был именно уникальным, другого слова не скажешь, поскольку определений для чуда в природе нет, слух — празднество, слух — постоянство, сквозь время и сквозь пространство, вне всякого самозванства, смутьянства и вольтерьянства, слух истинный, несомненный в своей правоте сокровенной, был, безусловно, лучше хорошего — моего.

Самоучка, он как-то естественно, как заправский профессионал, так, что многие были уверены, что учился всерьёз он музыке, играл на многих — да, многих, вот что было совсем удивительно, существующих, чуть ли не всех, и вот это уж вправду загадка, небывалый уж точно случай, — музыкальных, послушных ему, чародею, звучавших таинством откровения, инструментах.

В нашем доме — помню это с детства — были:

скрипка, легчайшая, изящная, вишневого цвета, сделанная однажды, под настроение, по вдохновению, по наитию, по чутью, самим отцом, созданная им, сотворённая — так вернее, — на которой отец, вскинув её левой рукой к подбородку, а правой рукой тут же плавно и свободно взмахнув гибким, тоненьким, будто прочерчивающим в воздухе

узкую волосяную полоску, смычком, — играл, слегка покачиваясь в такт льющейся музыке всем своим статным, поджарым корпусом, оставаясь при этом на месте, как заворожённый, — и лицо его становилось задумчивым, грустным, он был уже не здесь, а где-то совсем далеко, там, в мыслях своих, в своей музыке, — так мне казалось, — и глаза его, светлые, жемчужно-серые, с просвечивающей голубизной, точно такого же цвета, как небо осенью в наших краях, осенью, в октябре, когда он был рождён, осенью, которую так он любил, теплели, грустнели, светились сквозь полуопущенные миндалевидные веки с густыми, пушистыми ресницами каким-то вечерним, осенним светом, словно из Тютчева, стихи которого он так ценил, понимал и всегда близко к сердцу принимал, и чёрные брови его взлетали высокими дугами, и хрящеватый, с горбинкой, нос как-то резко обозначался, и я видел, как перекатывались под кожей у него на щеках желваки, и острый кадык иногда внезапно, судорожно вздрагивал, и отец то опускал пониже, почти на грудь, свою точёную, хорошо вылепленную, гордую голову, то поднимал её, — и в лице его, во всём его облике вдруг проявлялась, вспыхивала благородная, мужская, степная красота, и видна была в нём эта древняя, козацкая, запорожская порода, — и что он там, в грёзах своих и в музыке своей, прозревал, не знал я тогда, а теперь уже не узнаю, —

и была балалайка, играя на которой, отец преображался, чуть ли не до неузнаваемости, — нет, разумеется, был он узнаваем, но какой-то весёлый стих находил на него, весёлое, удалое настроение охватывало его, а с ним и всех домашних, — вот он и наигрывал, вот он и ударял по трём балалаечным струнам, да так лихо, с таким азартом, что смотреть было на него любо, —

мандолина — и с ней иной тон, иное настроение, иная музыка, лирического склада, — и звучали неаполитанские мелодии, звучало нечто сердечное, нежное, щемящее, трогательное, —

потом баян — и сжимались, разжимались меха, отцовские пальцы бегали по круглым кнопочкам, которые выпускали на волю звук за звуком, и мелодии то хрипловато вздыхали, то переливались, как рябь на речной воде, летом, под лунным светом, —

и, конечно же, пианино, чтобы я в свои школьные годы тоже учился музыке,—

и отец на всех на них, наших домашних музыкальных инструментах, попеременно, под настроение, но довольно-таки регулярно,—играл.

Он хорошо, нет, здорово, с чувством, играл на гитаре, на любой, коли случай представится, шестиструнной и семиструнной,—помню, помню в руках отцовских эти простенькие, фабричные, вроде чуть скруглённых восьмёрки, желтоватые и потемнее, скользким лаком слегка сверкающие, отражающие лучи солнца, бьющего к нам в окошко сквозь листву, если это было днём, а то электрический свет, если вечер стоял,—гитары!—берёт он вначале аккорд, потом ещё и ещё аккорды, слегка рокочущие, как будто бы воздух щекочущие, певучие, гармоничные, полнзвучные, не тепличные, струны перебирающие, за живое их задевающие,—и вот уже из рокотания, из струнного бормотания вырастает, встаёт мелодия, вся искрясь, глубоко дыша, и звучит до того естественно, свободно и непосредственно, что ликует и радостью полнится причащённая тайн душа,—

играл он, легко, уверенно, с мастерством немалым, на домре,—и звучала домра негладким откровением, очнувшись вдруг от своей дремоты приевшейся, немоты своей опостылевшей,—и узоры струнные множились, образуя звучащий круг,—

он играл и на аккордеоне,—и клавиши оживали, рождая звучание новое, и вздрагивали басы, и вспыхивало за гранью напевной воспоминанье о чём-то, чему названья не ищешь в плену красы,—мог играть он и на бандуре—тихонько, в светлой печали, напевая при этом старые украинские песни, думы.

Он замечательно пел.

Песней—жил. Песней—знал. Песней—верил.

У него был не просто хороший, а особенный, настоящий, то есть редкостный, может быть, даже и получше, чем у Козловского, украинский именно, то есть отличающийся от российских чем-то светлым, невыразимым, западающим в душу, волшебным и тревожным, словом, таким, как закаты в степи, когда листья дышат воздухом пряным широко и легко, и травы, разомлевшие среди зноя, расстилаются далеко, по холмам и балкам, куда-то к югу, к морю, и реки плещут щедрой влагой по перекатам, разливаются вдоль скалистых, в рудных жилах, крутых берегов, и щебечут какие-то пгицы, и поют на селе девчата, и криница ближняя тянет неуклонно к себе—напиться всласть холодной, мягкой воды, и вздымается куполом звонким над землёй исполинское небо, на котором позже зажгутся звёзды крупные, а пока в нём подсвечены облака заходящим солнцем, и сердце замирает от изумленья перед чудом живой природы, перед

будущим,—ну а в прошлом здесь немало чего бывало,—но зачем теперь, на закате, о таком устало вздыхать?—вот и смотришь вокруг, и дорог белый свет, и полынный горек стебелёк, и края степные благодатны и велики, безграничны, да, так точнее, всяких прочих земель вернее, и с младенчества мне близки,—небывалый, чистейший голос. Чудесный, мягкий, звучащий задушевно, лирично тенор.

Но и более низкие, баритонные партии исполнял он с таким же успехом, как и славные теноровые, поскольку диапазон его полнзвучного, сильного, с мощным, долгим дыханием, голоса был, учёным профессионалам и всем прочим на удивление, гибок, ярк, богат и широк.

Голос его был поставленным—от природы. Его природы. Той, которую—воспевал он. Той, которой обязан—всем.

Он постоянно пел—

народные украинские и русские песни, которые очень любил,

оперные арии, широко известные и менее известные, романсы, которых помнил он множество и на которые ещё в детстве моём открыл мне глаза, песни Вертинского, Лещенко, песни Утёсова, Козина, цыганские песни и романсы, приобравшие в его исполнении новые краски, открывавшие, как драгоценные камни, ранее скрытые, сверкающие грани,

эстрадные песни, полузабытые и недавние, из довольно обширного репертуара тогдашней советской эстрады,

а порой, с некоторой оглядкой, как нечто полудоушное, но, в силу этого полузапрета, ещё более желанное,—и джазовые песни, причём и джаз он—а далеко не каждому это дано—именно умел петь.

Так что дом наш—построенный, кстати сказать, отцовскими, материнскими и бабушкиными руками—в послевоенное, памятное мне время подъёма духа людского, восстановления и укрепления прочного быта, воскрешения жизни, обретения счастья, покоя и веры в грядущее, в сорок восьмом году,—уже с малых лет помню я наполненным музыкой.

Над рекой, изогнутой неволью, там, где ветру дышит привольно, тополь есть, высок и одинок,—времени туманного оброк был ему по силам,—он стоял, словно завершая расстояние,—вынес он листвою расставанье,—там я наконец-то побывал, тесные строенья обогнув, где стоят растения, уснув,—пустошью, засыпанною снегом, вышел к возвышению над берегом—и высокий тополь увидал. Таяла заснеженная даль, окна за рекою загорались,—а передо мною возвышалась тополя сухая вертикаль. Что же он тянулся к облакам, к зимнему высот столпотворенью, словно приносил

благодаренье родине, природе и векам? Что же он безропотно сносил горькую безлиственность и холод, словно уговаривая город не жалеть и нежности, и сил, чтобы в отношениях людей зримое тепло существования выросло для наименования судеб, и порядков, и вещей? Странное название — Ингулец, лунное, полынное мерцанье, ломкие морозца восклицанья, хрящ тропинок, ёканье сердец, звяканье калиток и бряцанье, хрумканье сосулук, прорицанья, звон ключей, сцепление сердец. И отцовский тополь — в тишине, в серебре чернёном предвечерья, чуткого исполненный доверья к вести света в скифской стороне.

Всё, что связано с вестью света, с настоящим, спасительным творчеством, — исстари, навсегда, прочно соединено для меня, и в прежние годы, и тем более в годы нынешние, в как бы времени заплутавшие ненароком, — с моим отцом.

Он работал художником-оформителем — в недавно построенном, представлявшемся всему населению нашей Гданцевки, нашего заречного райского уголка, настоящим великолепным дворцом, — с шестью массивными колоннами по фасаду, с шестым, вмещающим пятьсот человек, залом, с вестибюлем, верхним двусветным фойе, паркетными полами, мраморными лестницами, буфетом, библиотекой, внушительным числом всяческих, имевших конкретное назначение, помещений, с многочисленными, самой разной конфигурации, окнами, с обнесённым красивой оградой громадным двором, — словом, являвшемся шедевром отечественной архитектуры середины пятидесятих годов местного значения, расположенном чуть наискось, но всё равно можно считать, что напротив, ну, почти напротив памятника Богдану Хмельницкому, воздвигнутого на одноимённой площади в честь трёхсотлетия воссоединения Украины с Россией, Доме культуры завода «Коммунист» — завода, здесь же, неподалёку, находившегося.

Там, на втором этаже, в верхнем фойе, между двумя ведущими в зал исполинскими дверями, расположенными одна от другой на таком внушительном расстоянии, что между ними вполне можно было устраивать бег на короткую дистанцию, на стене, уходящей ввысь, к украшенному лепниной и увенчанному чудовищного размера люстрой роскошному потолку — такому высокому, что, стараясь увидеть его, ты отчаянно закидывал вверх голову и даже отчасти прогибался назад, — занимая почти всю стену, занимая её безоговорочно и просто вытесняя с неё всё остальное, включая хрустальные плафоны и тяжёлые бра, в обе стороны, подальше, раздвигая пространство, так, как пловец разгребает руками в обе стороны воду, являясь каким-то суперакцентом во всём помещении

фойе, так что даже окна, величиной с двухэтажный дом, тускнели и меркли перед этим торжественным примитивной, но безотказно срабатывавшей магии, неудержимо притягивая к себе все взгляды, вызывая всеобщее внимание, висела сверхогромная картина — «Бой Пересвета с Челубеем», — и я любил разглядывать изображённых на ней персонажей. Наглядность картины была очевидной и более чем азбучной. Использовался принцип лобового, простейшего противопоставления: плохое — хорошее, чёрное — белое. Хорошими были русские войска, плохими — противостоящие им степняки, всякий пёстрый восточный сброд. Витязь Пересвет, просветлённый, уверенный в своей правоте, сражался с богатырём Челубеем, коренастым, плотным, в полосатом халате-чапане, держащимся в седле нарочито свободно, косящим налитым кровью глазом, диким с виду человеком, но дикостью своей, отчаянностью своей почему-то и симпатичным — во всяком случае, вызывающим к себе интерес, обликом своим напоминающим почему-то писателя Куприна. В лице Пересвета угадывались, как несколько позже мне казалось, черты писателя Бунина. Что этим сходством хотел сказать неведомый мне живописец, выполнявший большую заказ, — осталось неясным. Все фигуры на этом полотне были колоритными. Обыгрывались детали, подробности одежды, конской сбруи, оружия. Это была иллюстрация к истории. Я видел противостояние двух сил, двух народов. И, хотя агаряне и были нарисованы поинтереснее, я, конечно же, целиком был «за наших», за русских. Недавняя Отечественная война окончилась победой над тёмными силами, шедшими на нас с запада. На картине, по существу, впрямую указывалось на то, что и с востока можно ждать всякого. Тогда на идущую с востока угрозу не обращали внимания. Проявились всё это уже теперь, в конце столетия. И я вспомнил звучавший в детстве с этой картины, исходивший от её образов осознанный призыв: быть бдительными, быть начеку — Восток может преподнести любые сюрпризы, он непредсказуем — для нас, и там всегда найдутся свои Челубеи, — а вот свои Пересветы — найдутся ли ещё на Руси?

Там, на первом этаже, находилась большая библиотека, самым прилежным читателем которой был я в течение многих лет, — и я любил библиотечную тишину, здесь совершенно естественную, и ровный электрический свет в помещении, и запах книг, которые выразить трудно, а он был, бумажный, тоже ровный, шуршащий, слежавшийся, чуть пыльный, застоявшийся, но приятный, настраивающий на хорошее запах, и сам вид книг, эти длинные ровные ряды книг на полках, на стеллажах, и само дыхание чтения, присутствовавшее здесь, ощущаемое здесь, дыхание новизны, дыхание знаний, и свет этой новизны, этих таящихся в книгах знаний, ровный,

спокойный свет,— и заведующая библиотекой, Раиса Абрамовна, хромёная горбунша с истомлённым лицом страдальцы, на котором пылали громадные, чёрные, скорбные, чуткие, одинокие, ласковые глаза, всегда выдавала мне книг больше, чем положено, потому что я быстро прочитывал их и приходил за новыми, а потом стала выдавать мне книги сразу на несколько абонементов, на всю нашу семью, так условно считалось, потому что потребности мои в чтении всё возрастали.

Там директором был человек по фамилии Бессараб— и я помню его круглый, складчатый, бритый затылок, и всегда красное лицо, похожее на крепко сжатый кулак, и костюм его, мешковатый, хотя и хорошо выглаженный, и повадки его, панибратски-вальяжные, неуловимо-скользкие, и замашки его, диктаторские, и движения, неторопливые, и походку его, с топотом, и его появление в глубине коридоров, и несомое с важностью, со значением,— всё же персона!— как-то странно раздутое изнутри, слишком грузное тело на коротких, негнущихся, но упрямо шагающих по натёртому полу ногах, и глаза, на рачьи похожие, и начальственный голос.

Там устраивали новогодние праздники, утренники для детей—

и мы с младшим братом приходили туда, оставляли пальто в раздевалке, поднимались по мраморной лестнице вверх, в фойе,

и вставала вдруг перед нами изумрудной, пышной громадой, и сияла всеми огнями привезённая к нам, вот сюда, из каких-то далёких, неведомых, заваленных снегом лесов, пахучая, свежая, колкая, пышущая, светящаяся новогодней, праздничной радостью, ёлка-великанша, под сенью которой весело общались с детьми двое главных персонажей новогодней сказки—

Дед Мороз, красноносый, ватнобородый, в толстой шубе до пят, в шапке-ушанке, на которой наклеен был или как-то иначе прицеплен, прикреплен порядковый номер нового года, в большущих, подшитых, сорок пятого размера валенках, с высоким посохом в одной руке, с прижимаемым другой рукою холщовым, плотно набитым чем-то заманчивым, под завязку прямо набитым, это видели все, мешком,

и Снегурочка, небольшая, спортивная, светленькая, в лёгонкой кругленькой шапочке на хорошенькой круглой головке, в белой шубейке до щиколоток, в белых лапюжках, в голубеньких рукавичках, с длинной льянной косой, лежащей на её прогибающейся спине, между худенькими лопатками, как свёрнутый парус, вся румяная, возбуждённая, компанейская, ясноглазая,—

а ещё был концерт, который давали специально приглашённые артисты, и выступление участников художественной самодеятельности,

и раздавали всем подарки в бумажных, приятно шуршащих пакетах с новогодними поздравительными надписями, и там, внутри пакетов, угадывались даже на ощупь карамель, и драже, и печенье, и редкие шоколадные конфеты, и ещё что-то, пока что непонятное, но наверняка вкусное,

и гремела, гремела праздничная, оживлённая, громкая, взвизченнная, вся искрящаяся, заводная новогодняя музыка, и сверкали, переливаясь, отражаясь в оконных стёклах, безмятежно искрясь на виду, на весу, наверху, игрушки на ёлке, и горели хрустальные люстры, плафоны на лестницах, в коридорах и в переходах, в прохладе и просторе вестибюля, горели все лампы, отражаясь в стёклах венецианских, круглых, квадратных, прямоугольных и прочих окон,

и хрустели осыпавшиеся с ёлки зелёные, но уже подсохшие иголки под ногами, на ступенях мраморных лестниц, на паркетном, натёртом до яркого блеска, скользком, как лёд, полу, и воздушные, развернувшиеся пружины серпантина свешивались с ветвей ёлки, с люстр, со штор, с дверных, сверкающих начищенной медью, гипертрофированно-больших, представляющих собою соединение боевой палицы с орнаментальными растительными завитками, ручек, с открытых форточек, отовсюду, за что уцепились,

и всё на время праздника предоставленное детям пространство Дома культуры было усыпано разноцветными, аккуратно-круглыми, крохотными кружочками конфетти,—

и все стены, все вертикальные плоскости, которые можно было заполнить, во всех помещениях этого, сказку дарящего, дома, или— для нас— дворца,— были увешаны праздничными, новогодними, сказочными панно, написанными моим отцом.

Там, в этом Доме культуры,— как войдёшь в него с главного входа, то из нижнего вестибюля— сразу направо по коридору, потом ещё раз направо,— была у отца мастерская. И я часто приходил к нему, и любил находиться там, у него, и разговаривать с ним, и смотреть, как он работает,— и до сих пор помню запахи красок, терпкие, острые, сочные, маслянистые, запахи загрунтованных холстов и картонов, клея, варящегося или подогреваемого в банке, на маленькой электроплитке, запахи свежего дерева подрамников, рулонов бумаги, вымытых в растворителе или в ацетоне кистей,— запахи, напрямую связанные с творчеством, с рисованием, с живописью, с трудом художника, с особым этим трудом, вдохновенным, рождающим зримые образы, светлым трудом.

Там, у него в мастерской, на его деревянном просторном рабочем столе, среди всяких нужных для оформительской работы штукювин, я увидел однажды небольшую книгу в тёмно-синей картонной

обложке. Что-то буквально подтолкнуло меня к ней. Я подошёл к столу—и взял книгу в руки. Причём, что поразительно, я как сейчас помню, происходило всё это весьма странным образом, будто во сне. Или, скорее всего, в состоянии транса—так я могу, кое в чём разбираясь, теперь уточнить.

— А. Грин,—прочитал я на обложке книги,—«Бегающая по волнам».

Здесь же, стоя у отцовского стола, я открыл эту книгу—и не закрыл её до тех пор, пока не прочитал всю, от корки до корки.

Потрясение, которое я испытал, трудно выразить. На меня нахлынула тогда властная, глубокая, наивная и пленительная мистика гриновского мира.

Я сразу же, несмотря на свой школьный возраст, понял, что никакая это не романтика, в советском, расхожем смысле этого слова, а нечто другое, очень мне близкое и крайне для меня важное, и почувствовал, что это сослужит мне добрую службу, поможет мне на моём пути,—вот только нужного определения для этого ощущения своего тогда, разумеется, не мог ещё подобрать.

И это, очень скоро, действительно очень мне помогло в моём тогдашнем, довольно раннем, становлении.

(Да какой Грин, к шутам, романтик? Он мистик. Прежде всего—и во всём абсолютно. Серьёзный. Искренний. Подлинный. Он—проводник, улавливатель сигналов, знаков—свыше. И выразитель этих знаков—для того, чтобы люди вдруг спохватились, опамятавались, прозрели, чувствуя зов красоты, слыша призыв неведомого, за которым ждёт их, быть может, ключ к пространству и времени, к душе или к речи, или тайна самого бытия.)

— Какой он был, Александр Степанович,—не такой, как все остальные?—спросил я лет десять спустя вдову писателя, Нину Николаевну Грин.

Спросил—и смутился наивности своего вопроса.

Но она—всё и так поняла. Она подняла мне навстречу светящееся лицо своё, обрамлённое белыми, ковыльными волосами.

— Конечно, не такой, как все,—спокойно ответила она,—особенный, непохожий на всех. Потому и Грин.

А. С. Грин. Феодосия, 8 апреля 1930 года.

Из письма:

«Религия, вера, Бог,—это явления, которые в чём-то искажаются, как только обозначишь их словами. Религиозное чувство, религиозное знание, вера—слишком обширные понятия, для того чтобы определять их словами. Слово ограничивает эти чувства. Не знаю почему, но для меня это так, между тем как другие чувства—любовь, нежность,

например, привязанность и так далее—ощущаются полнее, когда названы словами.

Мы с Ниной верим как дикари, просто, ничего не пытаюсь понять, так как понять нельзя. Нам даны только знаки участия Высшей Воли в жизни. Не всегда их можно заметить, а если научиться замечать, то многое, казавшееся непонятным в жизни, вдруг находит объяснение».

Ведический человек!

Отношение к вере. Понимание Бога.

Понимание сущности, призванности слова—на земле.

Я вспомнил своё чтение гриновских книг, своё восприятие и понимание их. Вспомнил белый домик в Старом Крыму летом шестьдесят пятого года, и Нину Николаевну, и её рассказ о Грине и о том, как здесь, в этом домике, этой хатке—так она этот домик порой называла,—Грин болел около года и мучительно умирал,—

и она, чтобы хоть ненадолго облегчить его страдания, колола ему морфий, и он забывался, боль уходила на время,—но была и другая боль—от понимания: столько же удастся уже написать.

— Все грехи свои он искупил своими страданиями,—говорила чуть слышно, воскрешая былое в памяти, Нина Николаевна.

Шестидесятые. Годы под знаком Грина.

Летний вечер. Теплынь.

Звезда в удивительно чистом, глубоком, спокойном небе.

— Грин был единственный в мире душевно мне полностью близкий человек,—сказала Нина Николаевна.

И мгновенно пришедшее дуновение ветра—от чего-то присутствия, пусть и незримого, но неизменного, здесь, а старокрымском белёном домике, здесь, где вечер, и небо, и свет одинокой звезды в непостижной, но кровной, родной высоте, в глубине, в чистоте непреложной, в этой песне вселенской и доле нелёгкой земной, здесь, где смысл моей жизни уже предо мной раскрывался,—ощутил я тогда.)

Вот и отец мой был—до мозга костей, до малейшей клеточки своей—ведическим человеком.

Отношение к вере. Понимание Бога. Мироощущение. Осознание призванности своей—на земле.

Вспомним Гоголя—об украинских песнях:

«...их вера так невинна, так трогательна, так непорочна, как непорочна душа младенца. Они обращаются к Богу, как дети к отцу; они вводят Его часто в быт своей жизни с такою невинною простотою, что безыскусственное Его изображение становится у них величественным в самой простоте своей».

Вот таким и был мой отец.

...Я оторвался, наконец, от книги, ощущая себя именно как в сновидении. Окружающий мир успел, за время чтения, для меня измениться. Думаю, это и был творческий импульс.

Отец видел моё потрясение. Он был тактичен, деликатен, выдержан, как и всегда. Он ни о чём меня не спросил и ничего такого, что могло бы ненароком разрушить впечатление от книги, и не помыслил даже сказать. Он просто ждал, когда я закончу чтение. Он, конечно, позволил мне взять книгу с собой. И дома, вечером, я, не мешкая, тут же ушёл в гриновский мир снова.

Отец мой был удивительно талантлив—совершенно во всём, что ни делал, за что ни брался. Он вечно что-нибудь изобретал, что-нибудь особенное придумывал. Он был, согласно хлебниковской формуле, истинным, прирождённым изобретателем, в противовес и в укор унылым приобретателям. Возьмёт в руки любой, даже непонятного назначения, предмет, повертит его так и этак, поразмыслит—и вдруг куда-нибудь его да и приспособит, что-нибудь этакое, новое, необычное, штуковину какую-нибудь, где этот предмет обретёт своё место и значение—им, отцом, придуманное, изобретённое значение,—мастерит. И всё уже—существует, живёт. Чудо!

Когда я был маленьким, он сам делал мне игрушки. Я помню их все, наперечёт, от деревянного маузера—чтобы такой был, как у Чапаева!—до деревянного же, но замечательно сделанного, ну прямо как настоящий, большого грузовика, который я как-то случайно забыл возле нашего дома, на куче песка, где я играл, и который у меня, понятное дело, тут же спёрли соседские мальчишки. Он делал мне самолёты необычных конструкций, дружинки и резко взлетавшие ввысь и долго державшиеся в воздухе пропеллеры, дивных бумажных змеев, красивых, обдуманных во всех деталях, с обязательным учётом технической эстетики, змеев, созданных для того, чтобы парить в небе. И всё сделанное им работало. Гудело, жужжало, двигалось, вертелось, летало. Он делал великолепные флюгеры. И мало того, что они исправно показывали направление ветра. Они были ещё и произведениями искусства.

Однажды он сконструировал и сделал—из ничего, из подручного, имевшегося в распоряжении материала—складную лодку. Очень компактную. Во всех отношениях—оригинальную. И вовсе не тяжёлую. Вдвоём с ним мы преспокойно донесли её до выбранного нами для испытаний лодки водоёма. Им был старый, заброшенный, глубокий, до краёв заполненный водой карьер. На берегу этого карьера мы развернули лодку. Оказалось это делом совсем простым. Под силу это было

сделать даже мне одному—настолько всё в этой лодке отец продумал. Мы спустили нашу лодку на воду. И там же, на глубоководье, мы её испытали.

Эх, вот было плаванье!—мы вдвоём с отцом, ликующие, счастливые оттого, что испытание нашего судёнышка проходит успешно,—мы вдвоём, посреди немалого, глубиной в несколько десятков метров и длиной в несколько сот метров, серьёзного, можно сказать, водоёма,—на своей собственной, самодельной, да, самодельной, но зато совсем настоящей, и не думающей тонуть, а спокойно плавающей, выдерживающей обоих нас, лёгкой, подвижной, манёвренной, превосходной лодке,—мы с отцом, покорители водоёмов, покорители водной стихии, увлечённо, старательно машущие самодельными маленькими, но удобными в обращении вёслами,—и плывущие в летнюю даль, по глубокой и чистой воде.

Как забыть это первое плаванье?

Он придумывал и делал всякие тележки, нужные в хозяйстве,—и тележки эти тоже оказывались удобными и лёгкими, и катились преспокойно на разной величины колёсах—от маленьких, снятых с отслужившей своё детской коляски и тут же пущенных в дело, до больших, велосипедных, и выдерживали тележки немалый груз, только поскрипывая, покачиваясь порою, но и не думая разваливаться, потому что были прочны, а ещё рукоятки и ручки их выдвигались и задвигались, завинчивались болтами, а ещё были у тележек и особые приспособления для поддержания груза—ремни с застёжками, проволочные поперечины и прочие воплощённые в жизнь результаты смекалки, и каждая из тележек не похожа была на предыдущую, да отец этого и не мог бы допустить, потому что оригинальность и новизна конструкции в каждом отдельном случае подразумевались сами собой.

Он делал лестницы для работ в саду и для дома, деревянные и металлические, складные, раздвижные и обычные, то есть просто представляющие собою соединение двух длинных жердей или узких и длинных досок, с перекладинами-ступеньками, но и лестницы получались у него особенными, не заурядными, не такими, как у соседей, а художественными какими-то, действительно близкими к произведениям искусства, и он красил их в разные цвета, и служили эти лестницы подолгу,—и я помню, на каждой из них, отца, то поднимающегося на чердак за орехами или сушёнными фруктами, то обрызгивающего из усовершенствованного им специального пульверизатора дерева в саду, то собирающего вишни или яблоки, то срезающего с виноградных лоз тяжёлые, крупные, налитые сладчайшим соком, напитанные солнечным светом гроздья.

Он делал оконные рамы, полки, скамейки, стулья, табуретки, шкафы, стеллажи, тумбочки и столы, двери — простые, филёнчатые, с распахивающимися навстречу или открывающимися вовнутрь, ладными, лёгкими, крылатыми створками, —

и сам этот материал — дерево — очень любил он, и хорошо разбирался в нём, и всегда, что-нибудь новое изготавливая из дерева, так подходил к делу, что и фактура дерева была видна, и порода угадывалась, и налицо были универсальность материала и красота.

Он делал, вырезая их из кровельного железа, красивые козырьки над крылечками, по которым потом барабанил осенний дождь, на которых потом налипал рыхловатый снег, но они, защищая нас от превратностей непогоды, не ржавели подолгу, не старились, а, казалось мне, только становились всё краше.

Он делал сказочные фонари, внутри которых вечером, в сгущающейся темноте, в густолиственном нашем саду, вдруг загоралась яркая лампа, и на гранях фонарных стёкол мелькало блики и отсветы, и отшатавались в шестельящую глубину, в синевато-лиловую, тёмную, с густо-зелёной основой, прохладу вечернего сада поспешные длинные тени, и высвечивались, оживая и щурясь, вдоль садовых дорожек, прощаясь с дремотой, цветы, и, шалея от тяги слепой и от власти, с которой справиться им не под силу, отовсюду, как будто на зов, всё летела на свет мошкара, и, мерещась уже средоточьем земного, скорее всего, магнетизма, всё горели, горели, сквозь ночь и сквозь детство, сквозь юность мою и сквозь жизнь, фонари там, в саду, за раскрытым окном.

Он сделал мне великолепные санки, широкие, со спинкой, с полозьями, загнутыми впереди весёлыми кренделями, санки, в которых так удобно было сидеть и в то же время катиться с горки, руками в связанных бабушкой варежках крепко держась за туго натянутую верёвку и тем самым управляя ими, воображая себя шофёром, ведущим машину, или кучером на бричке, или наездником на лихом коне, или даже пилотом, — а вокруг, посреди восклицианий взрослых, раздавался смех детворы — и кружился, кружился, кружился в морозном небе, оседая снежинками звёздчатыми на пушистый мой воротник, новогодний, праздничный снег.

Он научил меня кататься на велосипеде — и, сразу усвоив его уроки, с давних пор, с малолетства, по мере своего взросления меняя и велосипеды: вначале был трёхколёсный, но это уже не в счёт, — вначале был маленький, детский, но зато двухколёсный, потом — подростковый «Орлёнок»,

потом — настоящий, взрослый, и даже, бывало, гоночный, — много дорог и тропинок, без устали путешествуя, изъездил я в прежние годы по нашим краям степным.

Он научил меня кататься на коньках — и я вижу сейчас, как прикреплял он к ботинкам первые мои «снегурочки», вырезая для этого в подошвах специальные дырки, привинчивал коньки к ботинкам, делая всё старательно, основательно, на совесть, а иначе работать он и не мог, только так, — и я надевал ботинки с привинченными к ним коньками и причулся стоять в них, сохраняя равновесие, а потом и ходить, и мне хорошо это удавалось, — и вот мы шли с ним на реку, замёрзшую, покрытую сплошным, прочным, гладким льдом, ещё не занесённым снегом и даже не запорошённым снегом, потому что случались в детстве такие вот бесснежные, хоть и морозные, зимние месяцы, — и там, на реке, на льду, бескрайнем, тёмно-зелёном, отражающем сизое, серое, серебристо-жемчужное, ртутное, отрешённо-слоистое небо и давно облетевшие, голые, но привычно стоящие толпами над рекою в ледовом панцире, на обоих её берегах, чутко дремлющие деревья, на льду с пузырьками воздуха в некоторых местах, внутри, в ледяной толще, как бы замороженными там, во всяком случае, непонятно как оказавшимися там, где-то посередине, между подразумеваемой внизу речной водой и поверхностью льда, на которой, поскольку уже постепенно начинало темнеть, отражались, лучась, мерцая, зажжённые фонари, на льду, поддразнивающим, завлекающим, зовущем ринуться вперёд, незамедлительно помчаться по нему с невероятной, всё нарастающей скоростью, в беге, в ликующем движении, и незаметно как-то взять да и вырваться из бега в полёт, на льду, который своё движение, застывшее, замёрзшее, временно, разумеется, струение, течение воды, движение в пространстве, словно передавал нам, — катались мы вместе с отцом на коньках, увлечённо, самозабвенно, и детская радость моя шла об руку с его взрослой, а на самом деле такой же мальчишеской радостью, и не только шла, но и мчалась, и даже летела вниз по реке, вдоль изгибов её берегов, по звенящему льду, всё вперёд и вперёд, в грядущее, и оба мы были счастливы, и оба мы улыбались, — а потом и коньки мои, так же как и велосипеды, сменялись всё более взрослыми, более настоящими, ну а значит, спортивными, классными, от «снегурок» и «дутьшей» до «ножей» и «норвежек», — и движение в зимнем пространстве, устремлённость вперёд и вдаль, бег, а в нём — ожидание полёта, неизменно живы во мне.

Он приучил меня ходить на лыжах — и я катался, испытывая всё то же восторженное, радостное

чувство свободного движения в пространстве, а может, и во времени,—кто знает?—вначале с ним, а позже и один, в посадке, по улицам ближним и дальним, по всей округе, вдоль берега и на другом речном берегу, в огромных, пустынных, дремотных парках,—и везде, где хорош был снег и сверкала на солнце укатанная лыжня или едва обозначалась, только что проложенная мною, но всё равно это было здорово,—а зимы стояли мягкие, пушистые, снежные, гоголевские, и морозец прихватывал щёки, но не крепнул, не лютовал,—и было мне любо глядеть на деревья в белых одеждах, и снег искрился и таял на ресницах, у самых глаз.

Он сам переплетал книги и журналы. Он органически просто не мог переносить вида растрёпанной книги, а тем более—изорванной, измятой, в чернильных кляксах и жирных пятнах. Такая книга представлялась ему—страдающей. Он незамедлительно хотел одеть её в переплёт—чтобы она воспрянула духом, что ли, духом, который был в ней и с которым столь варварски, преступно поступали. Он принципиально желал придать книге нужный, достойный и её содержания, и значения её как книги, серьёзный вид. Аккуратный во всём, кто касается быта, щепетильный порой в мелочах, но всегда справедливый, так уж привыкший себя вести, вообще не переносил он никакой расхристанности. При виде истерзанной кем-нибудь книги сразу начинал он нервничать—и даже вполне мог прийти в ярость, впрочем, быстро у него проходившую и сменяющуюся деловой озабоченностью: что-то срочно надо ведь делать! Книгу надо—спасать! И он принимался за дело спасения книги. И книга вскоре была спасена. Книга—оживала. Книга—снова чувствовала себя не какой-нибудь там стопкой мятых, истёртых листков, а именно—книгой. Переплётённый его и обложки, как и вообще всё, сделанное когда-либо отцом, были просты, прочны, эстетичны, оригинальны и—уж это как фирменный знак, принципиальность, необходимость—все узнаваемы: сделано им!—каждая же в отдельности, всегда,—со своим лицом, и лицо создавал ей—отец. До сих пор переплетённые им подшивки «Огонька», начиная с сорок восьмого года, и других журналов, а также собрания сочинений разных авторов, русских классиков и писателей советской эпохи, и отдельные томики в целости и сохранности стоят на полках в нашем криворожском доме.

Он хорошо умел шить. И, при надобности, шил—на бабушкиной ножной, вечной, ни разу не ломавшейся, купленной в двадцатые годы в Средней Азии, в Ашхабаде, где она некоторое время, в период поволжского голода, жила и работала, зарабатывая на прокорм семьи, для меня—легендарной, швейной машинке,—шил всякую всячину, для

себя, для хозяйства, для садовых работ, для дома, для рыбацкого снаряжения, шил самые разные вещи, от какого-нибудь простого чехла до брюк или куртки,—да мало ли что он шил! И сшитые им вещи были точно такими же, как и всё, что хотя бы когда-нибудь сделано было им,—прочными, эстетичными, простыми, практичными, ладными, в каждом отдельном случае—неповторимыми, то есть все—со своим лицом. Всё, что он делал, было не механически, не шаблонно сделано им,—нет, и в мыслях такого не было у отца, сроду такое в голову прийти не могло ему,—да и с какой это стати кого-нибудь там повторять?—нет, слава Богу, фантазии своей у него хватало,—и всё, что он делал, было не сделано—создано им.

Он сам чинил всей семье обувь. И делал это профессионально, надёжно, на совесть. Что бы ни требовалось починить—сапоги, ботинки, ботики, туфли, сандалии, валенки, домашние тапочки, модельные женские туфли, босоножки, кеды, калоши—всё, что угодно, всё, что носили мы в разную пору года, всё, что стирали, сбивали, снашивали, продырявливали и рвали,—всё он брал и чинил. И мелькали в умелых руках его молоток, и мелкие гвоздики, и заплатки, и клей, и дратва, и большая, с кручёной суровой нитью, игла—цыганская, толстая, с широким ушком, и шило, и полоски резины, и кусочки кожи,—и обувь после ремонта была ну прямо как новая—потому что, и ремонтируя, то есть воссоздавая её, отец всё равно, в силу изобретательского своего дара, по привычке своей творческой, неизменно её—создавал.

Инструменты всегда—для многих случаев и для многих дел—были у него наготове. Множество инструментов. Но ведь и дел—множество. Инструменты, самые разные, были ему нужны. Содержал их отец в образцовом порядке.

Он хорошо—и даже, в целом ряде случаев, отменно хорошо, профессионально,—и вот ведь что поразительно,—видимо, интуитивно, ведь не учился же этому никогда и нигде, а действовал по наитию—и вдруг начиналась практика, быстрый процесс усвоения, постижения всяких секретов—и всё, он понял, в чём суть,—разбирался в технике, в моторах, в электричестве, мог починить часы, отремонтировать газовую плиту, водопровод, сам проводил отопление в доме, сам настирал полы, самолично же выстурав предварительно и обрабатывал каждую доску, сам настирал и ремонтировал крыши дома, летней кухни, сараев, садовых построек, сам вымащивал двор, сам делал забор, сооружал навесы и беседки, ремонтировал стены и потолки,—ну и так далее, всего не перечислишь,—знал он все строительные и ремонтные работы. Он столярничал, слесарничал, плотничал,

токаричал. Он умел, похоже, делать всё на свете. Вот какое ремесло, какое занятие ни припомню— всё, решительно всё умел делать мой отец.

Если он увлекался виноградарством, например, то не так, как все окрестные жители, а по-своему, непременно— с открытиями, с новшествами, и он писал об этих своих новшествах статьи в специализированные садоводческие журналы, и статьи эти охотно публиковали, а потом и соседи, потихоньку, один за другим, а за ними и всё население Гданцевки, перенимали эти новшества, и урожаи у всех в округе бывали отменными.

Если я сейчас расскажу, какие, в мои детские и отроческие годы, бывали у нас урожаи— то мне и не поверить могут, особенно— люди, которые сроду ничего подобного не видывали и которые даже приблизительного, даже отдалённого представления, даже крохи этого представления не имеют о том, что такое— в прежние-то годы, при условии должного труда на своей земле, на украинском щедром чернозёме, когда не была ещё угробрена экология, в окружении доброй, отзывчивой, благословенной природы, и небес, на которых, казалось, высвечивается имя древнего нашего ведического бога— Нэбо, посреди разливанного птичьего щебета и высокого шелеста буйной зелёной листвы, в дни, когда драгоценная радость людская, великая сила, не только жива была в нас, но и ширилась, и возрастала, а с нею, конечно, цвела на земле и любовь,— были настоящие урожаи. А между тем это святая правда. Скажу, чтобы поняли: сон, предание, сказка.

Если он увлекался рыбалкой, то опять-таки, не как все мужики, просто удил рыбу, и все дела: мол, повезёт— не повезёт, как уж выйдет, и нечего тут мудрить,— но обязательно— с выдумкой, со своей бесконечное восхищение до сих пор у меня вызывающей, неизменной природной фантазией, только— с творчеством, с изобретательством,— придумывал какие-то особые снасти, каких раньше сроду не бывало, но без каких он уже не мыслил для себя рыбалки, придумывал рыбацкое снаряжение, в котором, конечно, учитывался опыт прошлого, но в котором в досталь, с избытком, было нового, им предложенного, своего, им увиденного— в воображении, воплощённого им— в реальности, в деле, как и всегда у него бывало,— предлагал применять какие-то разработанные им специальные приманки, на которые рыба шла косяками, просто валом валила, ну как мошकारа на огонь, и клёв рыбаку был обеспечен с гарантией, и рыба клевала, клевала, и оставалось только вытаскивать и вытаскивать её из воды на берег,— и прочее, и многое другое, в чём я, к сожалению, не очень-то разбираюсь, но что и меня, мало понимающего

в рыбалке, неизменно восторгало своей непохожестью на стандарты, острою ищущей и всегда находящей нужное решение мысли, свежестью и новизной,— и писал об этом статьи, которые печатали уже в рыболовских тогдашних журналах, статьи с прилагаемыми к ним рисунками, схемами, чертежами, наглядными, простыми и доходчивыми,— и вскоре окрестные рыбаки перенимали эти его новации, и рыбы ловили вдоволь, на радость супругам и детям, и всегда возвращались домой с хорошим уловом, и уже не представляли для себя рыбалки без такой вот регулярной удачи.

Однажды он написал целую книгу о труде художника-оформителя— большую, полезную книгу, настоящее серьёзное исследование, где, помимо его интереснейшего авторского текста, открывающего многие секреты его мастерства, содержащего собственные его размышления и соображения об этом мастерстве, были изображены на специальных, тщательно выполненных иллюстрациях и подробно описаны десятки изобретённых им приспособлений, упрощающих, улучшающих и совершенствующих этот оформительский труд,— и охотно делился своими открытиями с местными художниками, с товарищами по цеху, по ремеслу, и всем им давал читать свою книгу, машинописную, с нарисованными им от руки иллюстрациями, и те охотно перенимали его открытия и пускали их в ход, в дело, благо все указания, рекомендации, советы, предложения для этого были налицо, и оформительское мастерство в нашем городе вскоре действительно возросло, более того— смело могу утверждать, что уровень его стал по-настоящему высоким,— а книга так и не была издана,— о чём отец, вначале повздыхав, позже особо и не печалился.

Он увлёкся чеканкой— и достиг в этом деле больших, надо признать, высот. И в этом был он неповторим. Оригинален— не то слово. Именно неповторим. Такой чеканки, как отцовская, не припомню я что-то. Лицо работ, почерк, тематика— всё было его собственное, им, прямо по ходу, придуманное, тут же осмысленное, сразу же созданное. В чеканке проявился и декоративный его дар. Материал, приёмы работы— всё было незаёмным, своим. И ощущение от каждой вещи, двойное,— и вещи именно, то есть изделия, рукотворного, которое приятно было в руках держать, и произведения искусства, которое следовало повесить на стену и долго рассматривать,— отчётливо помню я. Такое вот объединение— ремесла и искусства. И отец это сам прекрасно осознавал. Работы свои— раздаривал.

Он увлекался деревянной декоративной скульптурой. Ему всегда нравилось работать с деревом,

резать по дереву. Ему нравился этот материал. Природный! Он трудился увлечённо. И выходили — чудеса. Он делал великолепные деревянные подсвечники. Делал какие-то резные, сквозные, лёгкие подставки, на которых оживали букеты осенних цветов. Астры, упругими, звёздчатыми кружочками раскрывшие, плотно, один к другому, расширяющимися рядками, от жёлтой сердцевины в стороны, вытянувшие свои лёгкие, перистые лепестки. Георгины, тяжёлые, сочные, словно налитые тёмной, густеющей кровью, со стеблями, зелёными, крепкими, пьющими круглыми, широкими срезами, как через тростинку, воду из глиняного, только что налитого до краёв, отсвечивающего солнцем кувшина. Хризантемы, лиловые, белые, жёлтые, розоватые, сизо-бордовые, всякие, с горьковатым и терпким их запахом, с привкусом осени и предвестием сонных туманов, ночей, где на западе виден в густой темноте звёздный Ковш, и Полярная — Ур, звезда наших предков, русов, называет север по имени, окликает его в небесах, и бескрайний Чумацкий Шлях сквозь пространство и время уходит прямо в Ирий, где вечен свет, светел дух и жива любовь, — хризантемы, каскадами, гроздьями, ворохами, охапками в вазах, банках стеклянных, кувшинах, долгим празднеством прочно стоящие вот на этих отцовских подставках, — видно, надо бы их называть по-другому, да не знаю уж, как их теперь и назвать — волшебством, или сном, или музыкой, связанной нитью незримой с цветами. Он делал трости, трубки, мундштуки. Даже садовую скульптуру деревянную, больших размеров, — она и стояла прямо у нас в саду — делал.

Он сам построил себе мастерскую в саду — небольшую, но очень удобную, с застеклёнными восточной и южной сторонами, всегда светлую, полностью залитую нашим тёплым, золотистым солнечным светом, — и долгие годы, вставая, как обычно, с зарёй, увлечённо работал в ней.

И действительно, кто рано встаёт — тому Бог даёт.

Многое, очень многое давал Бог моему отцу.

Он воскресил память о криворожском лётчике и авиаконструкторе-самоучке Григории Прокопенко.

Вот об этом — достаточно сжатый, но, поверьте мне, важный рассказ.

Надо, пожалуй, сознательно подчеркнуть мне, что Криворожье — особая, не похожая на другие края, земля. Во многом, в очень уж многом загадочная — для учёных. И не только для них одних. Я-то знаю, что говорю. Таинственная. Вот именно. И настолько, что диву даёшься. Ведическая. Свидетельствую: сверх меры порой — магическая. Древняя. Даже очень. Потому-то ещё — и мистическая.

Здесь проходит издревле некий, очень странный, разлом почвы. Здесь повсюду такая мощная энергетика, что над проблемой прямого её воздействия и на среду окружающую, и на людей давно уже стоит всерьёз призадуматься. Здесь всегда почему-то было буквально великое множество талантливых, удивительно, щедро, празднично как-то, людей во всех областях человеческой обширнейшей, бурной деятельности, от связанных с техникой, скажем, прикладных, до сугубо творческих — писательской, композиторской, художественной и так далее, вряд ли стоит перечислять, потому что и так всё ясно. То есть, можно сказать, и физиков, и самых отпетых лириков здесь всегда, при любых властях, во все времена, хватало. Не говоря уж о тружениках просто необозримого по размаху, исконного, сельского, налаженного с умом и с толком немалым, хозяйства и мощнейшего, по масштабам великанского, производства, всей представленной здесь промышленности, всех карьеров и комбинатов, этих шахт глубоких бесчисленных, рудников колоссальных, фабрик, с целый город размером заводов. Но в том-то и штука, сознательно акцентирую ваше внимание на факте, не любопытном, а прямо из ряда вон выходящем, нет, вырывающемся, что среди всех этих местных, симпатичных вполне, людей было, ну хоть отбавляй, — с избытком — способных и даже очень способных, таких, чей дар проявлялся и крепнул, а то и очень талантливых.

Откуда такое обилие действительно светлых голов? Откуда столько различных, впечатляющих дарований? Почва такая. Природа. Память. И — явь. Среда.

Есть у нашего края свои собственные, незаёмные, а именно геокосмические, ни больше ни меньше, особенности. Можно сказать, что он — часть некоей уникальной, обширной, загадочной зоны, одной из важнейших, возможно, из подобных ей на Земле. Можно сказать, что это — нечто вроде Бермудского треугольника, что ли, поскольку затрудняюсь я подыскать более точное, правильное, по науке, определение — это учёные пусть сами определяют.

Именно здесь находится часть большой, известной давно, магнитно-радиационно-гравитационной аномалии. Она связана с очень древним разломом земной коры. Когда-то здесь был — представляете? — океан, да ещё и первый на планете нашей, — могучий, величественный океан. А вернее — праокеан. Этот разлом снизу доверху заполнен различными рудами. Как известно, у нас в Кривом Роге добывают, не только со скифских, но и с более ранних времён, железную, первосортную, очень качественную руду. Есть в этой руде и золото. Есть ещё и уран. И даже какие-то, вроде зелёные, драгоценные камни, забыл их название, по значимости своей, может, равные изумрудам,

есть в нашей железной руде. Наверняка и ещё немало чего в ней есть.

Здесь сгруппированы, именно здесь почему-то сосредоточены — уверен, что не случайно! — словно специально собраны в одном месте мантийные каналы и своеобразные гравитационные трубопроводы, которые, как считают знатоки, соединяют центр Земли нашей — согласитесь, действительно любопытной планеты! — с другими, очень важными в этом общем единстве, в этой прочнейшей связи всего и со всем, центрами Вселенной. Не нарушена, нет, — продлена и прочна эта древняя связь. То-то звёзды в краю моём сердцу близки и душе. Потому-то и жив там Агни. Потому-то и много там неба и света. Всем пространством степным — прямо к звёздам. Незримая связь и духовная нить. И отсюда — опять возвращенье. Представляете? Вот и хорошо. Так всё и есть.

Известно, что в наших степях — привольных, полынных, бескрайних, седых, с глубокими балками, с каньонами рек, со скалами крутыми, холмистых, бугристых, словно брови грозно сдвигающих при виде врагов, плодородных, поросших буйной растительностью, с тополями традиционными и вербами над водою, с большими и малыми сёлами, с густыми садами, с колодцами-журавлями, с птичьими стаями в синем небе, с приветливым солнцем, с полнолунием волшебным, со звёздами, столь светло и роскошно сияющими по ночам с непостижных высот, что задумаешься поневоле, почему так тянет порой ввысь, туда, к этим звёздам, с земли, благодатной и обжитой, но родство искони с ними чующей, — очень много древнейших курганов. Им по несколько тысяч лет. А в те времена, далёкие, согласитесь, и легендарные, для некоторых — мифические, для знающих — исторические (поскольку память о прошлом никому не удастся вытравить из сознания), у народа нашего удивительного была одна, всех решительно устраивавшая, привычная, да к тому же ещё и надёжная, крепкая власть — жрецы. Так вот, курганы, такие загадочные, и всё же почти домашние, наши, местные, располагались вовсе не наобум, не наугад, лишь бы только воздвигнуть их где придётся, да и дело с концом, — нет, они располагались на выходах мантийных — подчеркну это сознательно, чтобы запомнили вы, — каналов. Можно вообразить, какая здесь энергетика, если в один клубок, в узел один крепчайший когда-то соединились наша, здешняя, местная, магнитная энергетика, да ещё и, к ней в дополнение, две других, серьёзных вполне, — радиационная и гравитационная! Жрецы ведические знали своё дело. Они создавали святилища. Вечная, кровная связь неба с землёю. Стержневое мышление русское. Дух, Свет, Путь, Дом. Нить крепчайшая. Родина речи.

Замечу, что православные, то есть более новые, храмы, недавние, относительно, конечно, для нас,

но для нашей истории — точно уж новые, обычно, так было принято, возводились на месте древних, чтимых предками, русских святилищ. Там, где энергетика особая.

Вне всякого сомнения, энергетика эта очень даже воздействует и на сознание, и на подсознание. Воздействует на людей, обитателей этих мест. Активизирует внутренние, дотоле временно дремлющие или долго дремавшие силы. Пробуждает их, разом, вдруг. Побуждает людей к действию, к поступкам, к подвигам, к творчеству. Я уверен, что мощнейшие эти энергии действуют и на мозг, и на душу, и на строй мыслей, и на образ жизни. Самое поразительное в них — способность давать людям камертонный, как в музыке, творческий, всё в дальнейшем решающий импульс. И тогда начинается — творчество. А оно, земное, небесное, человеческое, Божественное, гармоничное, светлое творчество, — сущность нашей, людской, природы. Естества непростого нашего. И всего мироздания — нашего с вами, все мои современники, все минувшие и грядущие поколения, то есть общего, встарь, и днесь, и впредь, навсегда, для всех нас, други, единого для всех, поверьте, родного. Работа. И — только так. Прежде всего — работа. Человеческий, певческий, творческий, вдохновенный, провидческий труд. Созидание — в мироздании. Для продолжения жизни. Для возрождения жизни.

Змееборчество. Творчество. Жречество. Подвиг вечный — во имя отечества. Прави явленной торжества. Коло. Таинство. И — волшебство.

Интуиция. Подсознание. Взгляд осмысленный. Слух открытый. Путь осознанный — вглубь и ввысь. Озарение. И — прозрение. На свободном пути — горение. Выход — в небо, к другим, неведомым, познаваемым лишь в движении, в устремлённости всей в пространство, в измерения самые разные, чтоб единство Вселенной нашей там, вдали от Земли, постичь и на Землю вернуться вновь с новым знанием, с твёрдой верой в неизменный спасительный свет над судьбою, над речью, чутким к нам, землянам, отзывчивым исстари, понимающим нас мирам.

Стержневое мышление русское. Нить наития. Стёжка узкая. Стержневое. Навек. Насквозь. Шлях Чумацкий. Земная ось.

Здесь, в степях наших, есть этот стержень — стержень духа, и света, и дома, и пути, и всемирной культуры. Здесь — важнейшие, древние, жизненные, полнокровные, светлые силы, долготельный залог, для меня. Здесь — моя, родимая почва. Велико её притяженье.

Чтобы светом её напитаться, возвращаюсь я к ней отовсюду, где бы ни был я, снова и снова — ибо здесь возрождение духа, ибо здесь она, родина речи.

Почва. Природа. Среда.
Издrevле — и навсегда.

Вот и лётчик наш, Прокопенко.

Самоучка ведь. От природы — удивительно просто, сказочно, да и только, невероятно, так, что лишь руками приходится развести, понимая это, грандиозно талантлив был. Человек украинский, сельский, родом из одного с моим отцом процветающего, большого степного села, с юности, даже с детства, тянулся он почему-то не к чему-нибудь там иному, что попроще, но именно к технике. Причём к такой, обращаю на это внимание, технике, в которой в первую очередь, обязательно, всенепременно, была бы не просто новая какая-нибудь особенность, но, прежде всего, новизна, непохожесть на ранее виденное, и лучше всего — небывалость.

Ведическая, несомненно, добротнейшая закваска была у этого жаждущего новизны во всём человека. Почва — степная, приречная, чернозёмная, то есть извечная, череду поколений взрастившая, пропитавшаяся за столькие отшумевшие где-то века кровью предков, её защищавших, потом предков, на ней трудившихся, светом солнечным благодатным, полновластным сиянием лунным, звёздным, видимым в ночи, мерцанием, всеми запахами — и трав, и цветов, и костров, горящих на холмах, и печных дымов, и, особенно, выпекаемых в хатах белых, как день, хлебов, — совершенно всего, что связано с нею, доброй, щедрой, любимой, от беды издревле спасающей, плат небесный вдали поднимающей, словно мать родная, — была.

Особенно — вот что существенно — влекла его авиация. И понятно уже — почему. Тяга — давняя, кровная — к небу. Выход — с детства увиденный — в небо. И к другим, полагаю, мирам. Стержневое мышление русское. От земли — до самых небес.

Он мечтал научиться летать — и, конечно же, научился — и стал, от случая к случаю, помаленьку, не часто, летать. Но это — полёты на кем-то другим, чужим сконструированном и сделанном самолёте — его уже не устраивало. Он мечтал создавать самолёты. Свои собственные. Такие, какими всё чаще, всё чётче рисовались они ему в его не знающем удержу, пылком воображении. Ни на один из уже известных — совсем непохожие. Небывалые. Словом — новые. И он, решившись однажды, начал их создавать. Начал строить. Сам, своими руками. Здесь, у нас, в провинции, в городе, у себя во дворе, возле дома, прямо в старом просторном сарае. Никогда и нигде он этому, разумеется, не учился. Но ему ведь было — дано. И он воплощал мечты свои в явь — конструировал смело и строил, один за другим, в одиночку, свои самолёты. И все они без исключения — вот уж чудо так чудо — летали, да ещё и прекрасно летали! — и он испытывал их, и летал на них увлечённо сам, на собственных, на своих, им же созданных, самолётах.

Власти ему не мешали. Ну что делать, бывает всякое, увлечение у человека, не совсем обычное,

да это верно, такое, особенное, — самолёты — надо же! — строить. Странноватый, конечно, согласны, человек. Да уж ладно, спокойный. Идеями да открытиями своими всегда одержимый. Работой своей увлечённый. Никому никогда не мешает. На основной работе — где числится он механиком — зарекомендовал себя он, судя по многим отзывам, хорошо, всяческих порицаний и выговоров никаких не имеет и не имел, не прогульщик, не лодырь какой-нибудь — наоборот, старательный, честный, трудолюбивый, серьёзный, весьма полезный работник. Нормальный член рабочего коллектива. Бывали и поощрения, получал и похвальные грамоты от начальства, всё честь по чести. Ну а то, что свои самолёты дома строит, — ну что с ним поделаешь? — блажь, конечно, ещё и какая, наподобие детской игры, хоть и взрослый он гражданин, — да ведь, как ни крути, согласитесь, увлечение это, и всё тут, в нерабочее время, понятно, между делом, так, на досуге, потихоньку, без лишнего шума, — фантазёр, наивный мечтатель, весь в себе, и у нас на виду. Словом, чем бы дитя ни тешилось. Ну и пусть себе строит, пожалуйста, на здоровье, никто не против, что-то в этом, возможно, есть. Не опасный вовсе для общества человек. И не вредный. Может быть, допускаем, даже полезный. Всё-таки — самолёты.

Учёные ровным счётом о нём ничего не знали. «Мы ленивы и нелюбопытны», — лишний раз, увы, подтверждается пушкинское утверждение. Учёные находились — где-то там, совсем далеко, в других, больших городах, и прежде всего в столице. Где-то там, далеко, днём и ночью работали предприятия, на которых энтузиасты строили самолёты. Где-то там, далеко отсюда, кипела вовсю интересная, полнокровная, щедрая жизнь, бурлила научная мысль. А здесь была — глушь. Типичная. Натуральная. Просто — глушь.

Летом, рассвет встречая, по дворам петухи голосили, с утра надрывался где-то за рекой заводской гудок, а потом, словно вмиг спохватившись и смутившись, разом стихал, но зато прорезался в тёплом, пронизанном солнцем воздухе деловой, басовитый гудок маневрового паровоза, какое-то время держался на весу, вместе с облачком пара, и вдруг исчезал, надолго, может, и навсегда, только сорванные гудками с ветвей деревьев и с крыш галки да воробьи носились шумными стаями в небе, крича, по-своему, что-то почти понятное всем, о покое и воле, цокали по булыжной мостовой подковы смиренных лошадей, натужно скрипели несмазанные колёса то пустых, то гружённых всякой всячиной телег, изредка резко визжали тормоза редких автомобилей, топали по тротуарам стёртые подошвы совслужащих, кирзовые сапоги красноармейцев, шумели увлечённые азартной своей игрой мальчишки, но все эти звуки доносились точно сквозь сонную пелену,

и налетающий нехотя ветер поднимал обильную пыль, и день казался чрезмерно долгим, и зной, обволакивающий окрестности, постепенно становился тягостным, а позже и невыносимым, но к нему всё равно привыкали, как и вообще ко всему в украинской провинции привыкают в итоге люди, к любым переменам, в погоде ли, в жизни ли, приравливаются, к любым событиям, сколько их было — не сосчитать, да где они, кто его знает, но быт оставался таким, каков есть он, каков, наверное, будет и там, в грядущем, то есть самим собою, и город был просто самим собою, таким, каким постепенно складывался, вместе с развитием в нём производства, заводов, шахт, рудников, открытых карьеров, где добывали железную, нужную всем, руду, и основой его, сердцевиной, был старый центр, где здания, построенные в симпатичном, не без некоторой нарядности, традиционном для всех южных губерний дореволюционной России архитектурном стиле, чередовались, теряясь от негаданного соседства, с белёными саманными хатами, с невероятными скопищами откровенно убогих лачуг, с огородами, обнесёнными отдалённым подобьем заборов, с разросшимися на приюль широко и свободно садами, порою каким-то чудом удерживающимися на опасных высотах, над причёными кручами, порою же как-то радостно сбегаящими вниз, к речной прохладной воде, для всего живого желанной, и особенно в летнюю пору, и вокруг странноватого этого, с причудами явными, города простирались на все четыре стороны белого света бескрайние степи, холмистые, изрезанные морщинами оврагов, каньонов, балок, польные, Дикое Поле, древняя Русская Степь, Индия приднепровская, Славия, Оратания, Аратта, со всеми её ипостасями, всеми названиями, огромная, благодатная, могущественная страна, и всё это было в прошлом, и всё бельём поросло, и стояло в округе лето, и сияло солнце, и вечер наступал с тишиной усталой, а потом приходила ночь, и с мерцаньем звёздным сливались песнопенья бессонных сверчков,

осенью шли дожди, куда-то на юг, наверное, в блаженный, сказочный Ирий, улетали, прощально взмахивая расправленными крылами над родными краями, птицы, осыпались жёлтые листья, оголялись ветви деревьев, одичалый ветер бродил по садам окрестным, в тумане, в одиночестве, сквозь пространство с островками редких огней,

зимой было снежно и холодно, река замерзала, время шло медленнее, чем обычно, клубились в небе дымы,

а весной пробуждалась природа, вся разом, и жизнь продолжалась в разливах чистого света, сплошного, вне всякой тьмы.

Здесь никто не придёт к тебе, не посмотрит, что ты там делаешь. Здесь никто тебе ничего не

подскажет, лучше не жди. Не почувствует даже. Здесь — всё делаешь сам, только сам. Но зато — вопреки всему, в чём ни отзыва нет, ни внимания, ни участия, ни поддержки, — делаешь то, что хочешь. И даже, коль к этому призван, — собственные самолёты.

Для того она, видно, и глушь, чтобы в ней всё больше рождалось светлых душ. И светлых голов. На разломе коры земной. Да ещё при явном наличии такой вот, с творческой сутью, энергетики небывалой. На выходе — прямо в небо. И к другим, конечно, мирам. На родной криворожской почве.

А в городе он был — героем, легендой. Ещё бы! Наш, местный, многим — знакомый, и даже хорошо знакомый, человек — и не кто-нибудь там попроще, а творец самолётов. Это вам не хухры-мухры.

«Без діла слабіє сила», — украинская поговорка. Была у Прокопенко сила, было дело. Дающее ему новые силы. «Хто дбає, той і має», — украинская поговорка. В своих бдениях, в неустанных своих трудах имел Прокопенко то, к чему стремился, видел реальное воплощение мечтаний своих — свои самолёты. «Правду не сховаєш», — украинская поговорка. И прокопенковской правды — его трудов, его самолётов, — никак не спрячешь.

Это был не одесский Уточкин — человек рискованный, спортсмен, гонщик, лётчик, герой, конечно, да ещё и немножко клоун, цирковой, безусловно, рыжий, с сумасшедшинкой, общий любимец, над которым, им восхищаясь, можно было и пошутить, потому что черты смешные проявлялись всё время в нём, несмотря на его спортивность и бесстрашие, — человек на виду, на слуху, известный, ну а всё же чужак, и баста, говоря грубее — чудила, балаганный паяц, да и только. Это был — наш, местный, свой в доску, хоть и странный слегка, криворожский Прокопенко, хлопец что надо, создатель своих самолётов. То есть герой иного рода, уже серьёзный, тут ведь и так всё ясно, — рангом куда повыше.

И вообще, людей, подобных ему, Прокопенко, просто не было, вот в чём дело, вот в чём весь парадокс, тогда. (Полагаю, что нет и сейчас. Днём с огнём не найдёшь такого — и в былом, отшумевшем времени, и в сегодняшнем смутном времени. Если есть — уже не такие. Интересы у них — другие. Но таланты — живы в народе. Может, кто-нибудь нас — удивит.) Уникум он был. Единственным, неповторимым, таким вот, каков он есть, — украинским, провинциальным, самолётостроителем страстным, в нерабочее время, в условиях зарождающегося повсюду, чтоб окрепнуть, социализма, с его постоянной, нужной, нередко и самоотверженной работой на благо родного, хорошего вроде бы общества, прежде всего, и только потом уже, после трудов на производстве, скажем, или же на селе, со всем остальным, стоящим на втором и на третьем плане, включая пристрастия

личные, увлечения самые разные, и так далее, всё по порядку, по какому-то непостижимому предписанию, вроде сурового, в духе сводок военных, декрета, по приказу, считай, кремлёвскому, всем, для всех, чтобы все подчинялись, чтобы место знали своё, чтобы жили, не выделяясь, в массе всей, как положено,— был. Оригинал? Да. Может быть, и чужак. Но— не чужой, а— свой.

Любили его в городе. И уважали. А местная детвора— та его почитала, та его обожала. И ведь было за что почитать, за что обожать. Для мальчишек он был сверхгероем, примером для подражания, недостижимым покорителем неба, существом почти сказочным, исполином, кумиром.

Отец помнил, как человек-легенда, в собственном, сконструированном им же, большом открытом автомобиле, весь, с ног до головы, в кожаной одежде, в кожаном шлеме, со сдвинутыми на лоб защитными очками-консервами, подтянутый, молодцеватый, перетянутый тугими ремнями, скрипящий кожей, приветливый, улыбающийся, но и таинственный, словно гость из будущего, приезжал к ним в село, к своей родне, выбегавшей из хаты к нему навстречу, говорившей торопливые слова приветствия и всплёркивавшей руками, и долгожданный их гость— просто из города ли, действительно ли из будущего— выходил из машины и шёл к ним, и следовали объятия, поцелуи, восклицания, причитания, и вся родня, вместе с гостем, шла в хату, где уже накрывался стол, и начинался пир для собравшихся родичей, сельское застолье, и вскоре к звону чарок примешивались женский хмельной смех, мужское басовитое гудение, а потом из всех окон на улицу, заросшую спорышом и полынью, со столбиками мальв, напоминающих праздничную иллюминацию, и плетями кручёных паньчей, увивавших тын, на котором торчали кверху дном глиняные глечики, вырывалось дружное громкое пение, постепенно, по мере выпитого самогона, превращавшееся в разлаженное, покуда совсем не утихало, покуда не наступал чарующий сельский вечер, тихий, пронизанный травянистым плавучим, цветущим запахом медленной, сонной влаги от близкой реки, с пастушьей Венерой в небе, с надвигающейся с востока тягучей и леностной темнотою, а потом наступала и тёплая, тёмная, осенённая звёздами ночь,—

а наутро, умывшись у криницы, гость уже шёл к стоявшей возле хаты родственников машине, где его уже ждали сельские ребяташки, и широким весёлым жестом приглашал их, всех вместе, забираться вовнутрь, что они и делали немедленно, залезая, запрыгивая, ныряя в просторное нутро автомобиля, устраиваясь и на сиденьях, и на полу, всё равно, не важно, лишь бы всем оказаться— там, только б всем поместиться там, чтобы не было ни

у кого ни досады, ни слёз, ни обид, и в итоге все помещались,—

и Прокопенко, пришелец из будущего, таинственный гость в кожаном облачении, в кожаном шлеме, в огромных дорожных очках, делавших лицо его, простое, крестьянское, неузнаваемым, неземным, катал их, ребяташек, долго, к всеобщему их удовольствию, катал по селу, по окрестностям, выезжал и в степь, далеко, и рулил по холмистой, полынной, изрезанной балками, с чередой курганов у черты горизонта, наполненной ветром степи,— и казалось, летел он по воздуху, в своём самолёте, вместе со своими пассажирами, сельскими ребяташками, а не ехал, хотя и быстро, с ветерком, по степной дороге,—

и отец навсегда запомнил ощущение не поездки— полёта, и руки в перчатках с раструбами на круглом, со спицами, насаженном сверху на торчащий откуда-то снизу штырь, послушном руле, руки шофёра, руки пилота, руки создателя самолётов, и запах бензина, смешанный с запахом поднимаемой целыми тучами по сторонам, вылетающей из-под шуршащих колёс горячей пыли, и запах кожи, и скрип этой кожи, скрип сидений, скрип богатырского облачения их кумира, и дорогу, и ветер грядущего, бьющий прямо в лицо, и глаза Прокопенко— ясные, как степная, родная даль.

Отец видел его самолёты, его полёты на них. В синем небе, вверху, над зелёной землёй— рукотворные лёгкие птицы. Красавцы-самолёты. Самодельные. Самиздатовские, так сказать. Лаконичные, точные очертания фюзеляжей. Лёгкие крылья, широко раскинутые в стороны. Гул работающего мотора. Вращающийся пропеллер— точно светлый, бликующий на солнце диск. Состояние подъёма духа— и подъёма самолёта в воздух. Состояние радостного возбуждения— и успешного приземления самолёта. В кабине его— витязь в кожаном шлеме, гость из будущего, покоритель воздушной стихии, человек-легенда, Прокопенко. И— восторженный рёв толпы. И— всеобщее неудержимое, жгучее желание: снова увидеть героя— в действии, в небе, в полёте. Увидеть— и опять возликовать.

Шли двадцатые годы. Прокопенко продолжал усовершенствовать свои самолёты. Новые идеи буквально переполняли его. Творческая фантазия была в нём ключом. Сделает самолёт, полетает на нём— и вот он уже не устраивает конструктора, уже нужен новый, более совершенный. Трудился человек. Сплошное горение шло в нём.

Наконец, в Харькове, тогдашней столице Украины, прослышали о Прокопенко. Вначале посмеялись, для порядка: да что вы за сказки, мол, рассказываете такие? «Ну как это может человек запросто, чуть ли не шутя, у себя дома, во дворе, строить самолёты?»— «Да кто он вообще такой?»— «Самоучка? Самородок?»— «Ну, это ещё поглядеть

надо». — «Поживём — увидим». А потом и заинтересовались им: «А мало ли что?» — «А вдруг это надежда авиастроения?» — «И посмотрите ведь — из народа». — «Выходец из низов, так сказать». — «То, что надо». — «Подходящая фигура». — «И ведь, заметьте, летают его самолёты, и хорошо летают!» — «Что-то, видимо, в этом самоучке есть, определённо есть». Дошло наконец и до властей, и до учёных: ведь собственный, украинский авиаконструктор у нас имеется. Прирождённый. Талантливый. «Товарищи, это такая находка!» Приехали столичные посланцы в Кривой Рог, поглядели на прокопенковские творения — и ахнули. Пора, ох пора привлечь такого человека к настоящему делу — конструированию самолётов, уже в государственном масштабе, и к производству таковых.

Был какой-то очередной праздник. Прокопенко попросили полетать — на его новом, очередном, самолёте — да так, чтобы собравшимся людям было на эти полёты смотреть интересно. Попросили показать различные фигуры пилотажа. Ну и всё, что умеет. По его усмотрению. Лишь бы здорово было.

Прокопенко пришлось согласиться. Ему уже надо было ехать в Харьков, приступить к конструированию новых самолётов, — на предприятии, где его с нетерпением ждали. Но он отложил ненадолго свой отъезд.

На празднике он поднялся в воздух — с ипподрома, находившегося в те годы на Гданцевке нашей, на берегу Ингульца, — в пяти минутах неспешной ходьбы от дома, в котором я вырос.

После войны ипподром упразднили, а на этом месте построили автобазу, — и знал я о нём только понаслышке, но ясно представлял себе, где он был расположен.

Прокопенко взлетел — и стал выполнять всякие сложные фигуры пилотажа. Он увлёкся. Он уже продемонстрировал чудеса. Он уже превзошёл, можно сказать, себя самого. Но ему, герою, воздушному витязю, козаку-запорожцу на крылатом коне, — и этого было мало. Собравшаяся на ипподроме в честь праздника толпа восторженно приветствовала его воздушную акробатику. Такого здесь ещё не видывали. Прокопенко хотел, видимо, поразить людей — чем-то вовсе уж необычным. На одном из фантастических витков — он чего-то не рассчитал. И разбился.

И погиб криворожский Икар. Славной смертью погиб, как в бою, — подчиняя стихию воздушную. Подчиняя воле своей пространству и время. Погиб создатель прекрасных крылатых машин, хотевший, помимо упрямого освоения сложного, непривычного для него витка в небе, ещё и подарить радость собравшимся посмотреть на его полёт людям, — да, прежде всего — дать, принести эту радость чудесного всем, кто пришёл сюда. Так, отважно, геройски, угробили в сражениях его

предки-запорожцы, но радость победы их узнавали защищённые ими люди. И молва о нём долго, веками, жила в народе. Погиб потомок славных запорожцев. Рухнул его самолёт на родную землю. И обломки крыльев разлетелись по воздуху, далеко, широко, на все четыре стороны света. И степные чайки взмыли, крича и плача, в синее небо, и сильные крылья их реяли в синеве, так похожие на крылья прокопенковского самолёта. И сизые горлицы заплакали, запричитали, встревоженные увиденным. И люди, сбежавшиеся отовсюду к месту падения самолёта, ничего уже не могли сделать. Погиб козак. Было ему всего тридцать три года.

В Харькове погоревали о том, что талантливый изобретатель, самоучка, их надежда, вне всякого сомнения — восходящая звезда отечественного авиаконструирования и самолётостроения, натуральный подвижник, герой, погиб в столь молодом возрасте, — да и забыли о нём. И в Кривом Роге, с годами, — забыли.

Но отец мой — нет, не забыл. Многие годы спустя после пересказанных мною событий, уже в восьмидесятых, — он словно услышал зов. Словно голос услышал — призывающий его к действию. Он расспросил всех помнивших Прокопенку людей. И узнал о нём, по возможности, — всё. Он написал о Прокопенко большую статью — и опубликовал её в местной газете «Червоний гірник». Он нарисовал — по памяти — выразительный его портрет. Криворожский основоположник местного, домашнего, самиздатовского, самостоятельного, но и поистине замечательного самолётостроения — смотрит с этого портрета на забывших его земляков, смотрит во всём богатырском своём облачении — в кожаной куртке и в кожаных ботинках, в кожаном шлеме. У него открытое, широкое славянское лицо. Как окно — нараспашку — в пространство! Лоб его чист и высок. И крупна голова его. Сколько же там, в светлой этой голове, содержалось потенциальных открытий, сколько новых проектов готовилось там, в этом испытывавшем неустанный творческий огонь, изобретательском мозгу! Сколько новых, уникальных самолётов могли бы взлететь в синее отечественное небо! Если бы... Да, вот это «если бы». Если бы не столь ранняя, нелепая гибель. Смотрит Прокопенко на земляков, смотрит в будущее, смотрит распаханутыми в мир, совершенно детскими своими глазами, и глаза эти — очень серьёзные. Вечная ему память! И спасибо — отцу моему.

В Доме культуры, где он работал, был знаменитый на всю страну танцевальный коллектив. Я помню статьи о его триумфальных выступлениях на разных сценах Союза, репортажи, фотографии — в газетах, в журнале «Огонёк», снятый

о нём документальный фильм, который смотрела, здесь же, в кинозале Дома культуры, вся наша Гданцевка, все поголовно жители заречного нашего рая, и потом приходили снова — и смотрели ещё и ещё — ну а как же? — ведь это наши, наши местные, все знакомы, все знакомы, и вот — известны, ну а может, и знамениты, ну конечно же, знамениты, ведь недаром же их снимают и показывают в кино.

В Доме культуры было множество всяких секций, в том числе и музыкальных. Может, назывались они и не секциями вовсе, а кружками, не скажу сейчас поточнее, слишком времени много прошло. Но они были — в Доме культуры. И они были — для культуры. И — во имя культуры. Уж такой, какова была она. Уж такой, каковой представлялась всем — в пятидесятых годах. И, надо сказать, занимались в этих секциях, или кружках, где была среда, где были собеседники, единомышленники, — охотнейшим образом, увлечённо, самозабвенно, вечерами, в свободное от работы на производстве или от занятий, у кого — в школе, у кого — в институте, время, — самые разные, в тяге своей к культуре — прекрасные, страстные, знакомые, местные люди. Огромной и властной была эта общая тяга к культуре. Тяга к творчеству, прежде всего. Люди — жаждали творчества. Люди хотели творить — и творили — искусство. И ведь какая прорва способных и талантливых людей заполняла громадное здание Дома культуры — и представить себе не могут этого нынешние гданцевские жители. В пятидесятых люди жили — на полную катушку. Им надо было самовыражаться. Им требовался выход — к небу, в свет. Они и шли сюда — здесь было им светло.

Особенной популярностью у моих земляков — при всеобщей, повальной певучести и музыкальности их, — разумеется, пользовались музыкальные секции.

И я помню в отцовских руках — самые разные музыкальные инструменты. Возьмёт, посмотрит внимательно, попробует, как это звучит, приноровится, сосредоточится — и вдруг играет! Как это ему удавалось? Откуда это было в нём? Не знаю.

Нет, знаю. От природы. От Бога. Такой вот дар. Сроду он не учился музыке — а так её чувствовал, так понимал, так хорошо умел играть.

Я не помню в его руках разве что саксофона.

И то вполне вероятно, что в ту пору, когда в Доме культуры, как раз после произведшего переворот в сознании у молодёжи всего Советского Союза, да и не только у неё, проходившего в Москве Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, организовали местные энтузиасты джазовый ансамбль, для маскировки, для приличия, по-советски, называемый, конечно же, эстрадным ансамблем, который, в ходе концерта художественной самодеятельности, уже в самом конце

концерта, а жадно, словно сюрприз или вкусное лакомство, ожидаемый всеми в зале, потому что из-за него-то все, и я в их числе, и пришли в этот вечер сюда, ожидаемый, предусмотренный, всем нам загодя твёрдо обещанный — и всегда неожиданный — вот он! — застающий всех нас врасплох, чтобы, вдруг спохватившись, ликуя, в предвкушении музыки, и не просто эстрадной, а джазовой, мы восторженно, даже неистово, разом, вместе, авансом, заранее, не дождавшись и первого номера, аплодировали ему, — появлялся вдруг перед нами на высокой, просторной сцене, весь в сиянии света, бликующего на пленительных инструментах, из которых вот-вот польются хрипловато-горланные звуки всем знакомых в то время мелодий, этих лодок, летящих под парусом по речной расплещенной влаге, среди солнечных отсветов, лунных отражений и звёздных высей, в ритмах ветра и листьев шумных, в пёстрых россыпях брызг и синкоп, — и высокий парень-рабочий, руководитель ансамбля, вскидывал, вверх и к губам, пылающую, нет, пышущую безмерным внутренним жаром, готовую звуком излиться, начищенную трубу — и подавал музыкантам неулловимый знак, и — вот оно, вот оно, ну, наконец началось! — раздавалась, нет, вырывалась — к нам, притихшим, с восторгом внимавшим чуду джаза — «Аппассионата», или марш «Сент-Луи блюз», или грустный ноктюрн «Ночь в Гарлеме», — всё равно, мы всему — внимали, восторгались — всем, что звучало, принимали всё, что играли музыканты, поскольку всё это было тогда в новинку, совпадало с биением крови, с нашей школьной взрослостью, с нашей независимостью от правил той игры, что хотело время, вместе с властью, всем нам навязать — посреди столетия, в начале нашей жизни, — нет, мы хотели быть всегда самими собою, как бы жизнь ни сложилась, — выход мы искали из духовых, из обмана, из глухомани, из провинции, — к свету, к людям! — и прорывом всеобщим в завтра жили все мы, и в жилу был нам так победно звучащий со сцены, разрешённый гданцевский джаз, — отец мог, вот так же, под настроение, взять да и поиграть на саксофоне. Наверняка получилось бы!

Ему было — многое дано. Дано — многое сразу, и — щедро.

Но основной его дар — был дар художника.

Был он просто замечательным акварелистом. Выдающимся.

Подобных я не встречал.

Фонвизин — великий мастер, виртуоз акварели, и там — игра, там изыск, и полёт — цирковой, и мир — камерный, комнатный, сжатый вовнутрь, и всё это полно блеска, и детскости, и обаяния, и тайны, и нешуточной, но — галантной какой-то, деликатной, воспитанной, сдержанной силы. Я знал

Артура Владимировича. Видел, как он работал. Ещё в шестьдесят пятом году, в самом конце мая, в период разгрома смога и моего изгнания из университета, накануне отъезда на Тамань, в экспедицию, прямо в речь, что открылась мне там, прямо в лето, в новую книгу, написал он портрет мой, сказав: «Вот, Володя. Теперь смотрите. Вы — поэт настоящий. И я написал вас таким — поэтом». Я взглянул на портрет — и увидел себя, вдохновенного, юного, золотым озарённого светом, с запрокинутой ввысь головою, с полуприкрытыми глазами, читающего, от сердца человека к человеку, старому художнику стихи свои, читающего — поющего, себя — в звучании речи, в звучании музыки — той, что рождалась в ту пору во мне, чтоб книгою летнею стать, а с нею — и жизнью грядущей моею, той жизнью, которую я вспоминаю теперь, и вижу, и слышу, и сызнава переживаю, — а ветер гудит за стеною и плещется в окна с дождём. Честь и слава художнику! Помню, помню всё — наши встречи, беседы, — и, даст Бог, расскажу о нём.

А отец мой — другой. Он — сам по себе. И подход к акварели, и техника, и методы работы, всё — своё, личное, ни на что и ни на кого не похожее, да такого и быть у отца не могло. Отец — пейзажист. В работах его, прежде всего и всегда, в любой его вещи, — есть то, что Грин называл парением духа. Он дарил людям — радость. Нёс он — свет. Выражал — дух, созидательный, творческий, древний, — родного края своего, родного мира своего. Дома своего. Почвы.

Я помню, как восторгались работами отца моего московские художники, мои друзья-приятели, герои и подвижники неофициального русского искусства, новаторы, авангардисты.

Игорь Ворошилов, когда он жил у меня, в конце шестидесятых, и очень много у меня работал, или просто потом, в начале семидесятых, захаживал, по привычке, по старой приязни, ночевал, застревал, бывало, надолго, рисовал, философствовал, пил вино или водку или гонял бесконечные чаи, в зависимости от настроения, состояния души, отсутствия или наличия средств к существованию, это уже не важно, важно — что приходил, и довольно часто, и горение в нём продолжалось, творческое, высокое, — рассматривал порой подолгу отцовские акварели, и задумывался, и вздыхал, и закуривал, и негаданно вдруг оживал, и взволнованно, всею душою, говорил мне:

— Володя! Ты посмотри, сколько света! Старик, ты взглядишь только: видишь, какой свет? Откуда? Я понимаю: отец твой — человек особенный. В каждой его акварели, какую ни смотришь, везде этот свет. Небесный? Ну да. Но и земной, понятное дело. Он у него — единый свет. Вселенский.

Созидательный. И ты знаешь — он мне жить помогает. Кроме шуток. Я говорю совершенно серьёзно. Вот бываю я у тебя — и всё время на картинке твоего отца поглядываю. Притягивают они к себе. Чувствую это. И я вначале просто поглядываю — то краем глаза, то повнимательнее, трезвыми глазами. А потом начинаю — смотреть. Не на них, а — в них. Туда, в глубь их. Вглядываюсь в них. Вхожу. Это можно сделать, ты знаешь. При условии, если картинка — настоящие, с тайной. И они открываются мне. В них — свои измерения. И свои — пространство и время. С ними можно жить — и в них можно жить. Они сами — живые. И принимают к себе — понимающих их людей. Они открываются мне — потому что чувствуют это. И начинают — звучать. Да, звучать. А что? Это правда. В них есть музыка. Я сказал бы, что это — музыка бытия. Свет и звук — в каждой вещи. Что-то волшебное. Может, и самое главное. Они, акварели эти, меня — врачуют. Душу мою исцеляют. Я это уже несколько лет ощущаю. И посмотри, какое в работах твоего отца небо! Как говорил мой любимый Бёме о небе? Я напомним. Он так говорил: «Теперь заметь себе образ неба: когда ты смотришь на мир сей, то пред тобою прообраз неба». Чувствуешь? И ещё говорил он о небе: «Звёзды знаменуют Ангелов: ибо подобно как звёздам надлежит пребыть неизменными до конца сего времени, так и Ангелы должны вечно пребывать неизменными в вечном времени неба». И я это вечное время неба вижу, когда смотрю все эти акварели. И за ними, далеко, глубоко, звёзды вижу. И присутствие Ангелов чувствую. И когда отца твоего изредка вижу, сразу Ангелов почему-то вспоминаю. Представляешь? Почему так бывает? Загадка. Вот ещё что Бёме говорил, о небе: «Стихии знаменуют дивную соразмерность и переменность образа неба: ибо подобно как глубина между землёй и звёздами непрерывно меняется в образе своём, то она дивно светла, а то затуманена, то бывает ветер, то дождь, то снег, и глубина бывает то голубой, то зеленоватой, то беловатой, то тёмной. Такова и переменность неба в многообразии цветов и образов; однако не по тому роду, как в мире сём, но сообразно восхождению духов Божиих: и свет Сына Божия сияет в нём вечно, но одно восхождение бывает всё же больше в этом рождении, нежели другое: потому дивная премудрость Божия непостижима».

И Ворошилов, глядя то на отцовские работы, то на меня, пристально, в упор, выразительно простирает руку ввысь.

Он сам был чистейшим и светлейшим человеком, добрый мой друг, Игорь. И, несмотря на внешний свой, нередко почти охламонский, вид, — чрезвычайно образованным человеком. Своего любимого Бёме цитировал он в наших с ним незабвенных беседах часто, охотно, порою целыми страницами, наизусть. И сейчас, вспоминая

ворошиловские слова, рассуждения его об отце, об отцовских работах и — ну как обойтись он без них мог? — цитаты из Бёме, — я всего-навсего уточнил и проверил по книге текст.

На протяжении нескольких лет Ворошилов неизменно мне говорил:

— Ты, когда к родителям в Кривой Рог поедешь, приветы им от меня передай. Маме, конечно. И отцу — большой, большой привет передай. Так и скажи: от Игоря Ворошилова привет вам огромный.

Своих родителей с детства называл он на «вы». И в его сознании, как понял я позднее, образы моих родителей, о которых столько я ему рассказывал в часы наших с ним душевных бесед, как-то соединились, что ли, сопоставились, укрепились рядом, совсем близко, и даже наравне с образами его, ворошиловских, родителей, проживавших тогда на Урале.

— Не забудь, — говорил Ворошилов, — привет отцу от меня передай. И моё почтение, искреннее. И восхищение. Скажи ему: это искусство. Как я его понимаю.

Я, разумеется, твёрдо обещал ему передать приветы от него — и передавал их. И родителям, особенно отцу, это было приятно. И важно. Для него — для художника. Потому что его — понимал Ворошилов. Самого Ворошилова — мой отец давно понимал.

Володя Яковлев, полуслепой, но — всё чующий, зрячий внутренним зрением, ясновидчеством дивным своим, подойдёт, бывало, к висящей на стене отцовской акварели. Вплотную приблизит к ней лицо своё. Всматривается, сильно щуря глаза. Будто внюхивается даже. Вдыхает её. Вбирает, впитывает в себя.

Потом отодвинется от работы, отойдёт на шаг, всем корпусом, резко, повернётся ко мне. Снова сощурился, всматриваясь, глядя уже на меня:

— Алейников! Твой отец рисовал?

— Да, — отвечаю ему.

— Настоящий художник! Так ему и передай — от меня. Скажи: Володя Яковлев просил передать, что он — настоящий художник.

— Обязательно передам! — обещаю.

А сам — радуюсь, там, внутри. Для меня самого это — важно.

Яковлев — интуит. Он искусство — нутром, хребтом чувствует. И если уж он, в общем-то не такой уж щедрый на похвалы человек, такое говорит — значит, так всё и есть.

Впервые увидел Яковлев отцовские работы у меня дома, в шестидесятых. Дома — это в той квартире, где я тогда жил в Москве. И с тех пор, неизменно, при наших с ним встречах, которых в дальнейшем было множество, вспоминал о моём отце.

— Настоящий художник! Ты сказал ему это? Передал, что я о нём думаю? Ты сказал, что я так считаю?

— Передал, конечно, передал ему всё, — отвечал я, — и о том, что ты так считаешь, сказал.

— Ну, здорово! Хорошо! — и в почти чёрных, с огромными, расплывшимися зрачками, глазах Яковлева появлялась какая-то тёплая лучезарность.

Вслед за этим, регулярно повторявшимся, допытыванием, передал ли я отцу яковлевское мнение о нём, без пауз, Володя уже тасил меня в свой рабочий угол — смотреть новые гуаши. Что я и делал — с превеликой охотой.

Толя Зверев, Тимофеич, как некоторые любили его называть, в меру выпивший, но всё на свете ясно и трезво понимающий, позабыв о привычном своём ёрничестве, нередко и юродстве, которое было для него старым, испытанным русским способом самозащиты, задумчивый, несколько посветлевший всем своим колобродным, но всё равно притягательным, магнетическим обликом, похрюкивая, посапывая, что-то там про себя приговаривая, ходил, бывало, кругами, полукружиями и прочими напоминающими знак бесконечности фигурами движения в пространстве — по комнате, по середине её, вдоль стен, в углах, где только можно было ещё двигаться, можно было пройти, чего-нибудь не нарушив, не задев на пути, поводя широкими, покатыми плечами, покачивая всегда взъерошенной, самолично — по тени на стене — подстриженной головой, и всё поглядывал остро сощуренным глазом, будто бы ненароком, будто вскользь, из-за плеча, вполоборота, по ходу, в процессе движения, на отцовские акварели, — и вдруг не выдерживал, разворачивался, подходил к ним ближе, плотнее — и впиался глазами в них, что-то мурлыча, почти напевая, и высматривал в них что-то нужное только ему, и смотрел, и потом затихал, и глаза его карие становились добрее, теплее, — и, в итоге не в силах сдерживать неких мыслей и чувств, накопившихся там, внутри, и в сознании стройном его, и в душе, говорил:

— Слушай, Володя! Твой отец — то что надо художник. На пять с плюсом!

Скажет — и лицо его преображается. Сияние в нём появляется. И всё куда-то улетучивается, мгновенно исчезает с глаз долой — одутловатость, небритость, вся его нарочитая неряшливость, — будто стряхивает он их с себя, — и вот он, весь как есть, стоит передо мною, Зверев, тамбовский, русский, светлый человек, и знает он — что говорит и как мне говорит он об отце.

Володя Пятницкий, таинственный, чудесный, тишайший, светом внутренним сияя, добрейший Пятница, милейший человек, в часы бессонниц

собоюдник задушевный, закинув свою как-то выразительно, подчёркнуто красивую, с длинными, словно отброшенными далеко назад, за худые плечи, за воротник, за спину, волосами, точно изваянную на редкость удачно природой, в порыве вдохновения, казачью голову, голову художника, прозревающего в своих работах то, что не дано было прозреть другим, постоянно находящийся в своих, прочим не ведомых, наркотических, сновидческих, ясновидческих состояниях, не замечающий по этой причине ни жары, ни холода, ни похвал, ни обид, равнодушный к людской суете, сильный — своей внутренней силой, верный — своему пути, своему духу, своему свету, стоял, в длинной, старой солдатской шинели, заменяющей ему пальто, перед отцовскими акварелями — и появлялось у меня ощущение, что он — пребывает сейчас там, в отцовских пейзажах, путешествует в них, бродит, смотрит на мир отцовский чистейшими своими глазами, и хорошо ему там, покойно, вольготно ему там бродить себе не спеша, думать свои, неизвестные всем, бесконечные думы, — и мир этот близок ему, дорог ему, потому что он светел и чист, — и Володя поворачивал ко мне своё измождённое, бледное, с узкой бородкой, лицо, которое, несмотря на его худобу, и скуластость, и отрешённость от быта, от мирской несурзацы, и глухие следы разрушения от наркотиков и алкоголя, проступавшие временами на нём, всё равно оставалось осиянным таинственным светом, в чистоте своей — просто прекрасным, и которое так и хотелось сравнивать иногда с постоянным источником света, потому что светилось оно изнутри, из души, — говорил: — Светлый человек твой отец. Светлый художник. И в акварелях его — светлая радость!

Ну а Петя Беленок — тот к отцовским работам оставаться равнодушным никак не мог. Они приводили его в небывалое волнение. Причём волновался он искренне, откровенно и непосредственно, как ребёнок.

Длинный, худющий, в старых джинсах и старом свитере, посверкивая лысиной, потряхивая круглой головой, пощипывая своей длинной, узкой, чуткой кистью скульптора, с тонкими, нервно подрагивающими, на ощупь способными ваять из глины, из гипса, из всего что угодно скульптуры пальцами седеющую, коротко подстриженную бородку и аккуратно подстриженные, седеющие усы, Петя рассматривал отцовские акварели, то близоруко подносил их почти вплотную к небольшим, глубоко сидящим, иногда беспомощно-детским, столь доверчивым, светлым глазам, то отодвигая их, на вытянутых руках, на некоторое расстояние, и всё причмокивал языком, поахивал, покряхтывал, постанывал, отчего издаваемые им звуки сливались в

сплошное какое-то «ох, ух, ах», — и видно было, что работы очень, просто очень ему нравятся — и это он так переживает их, так выражает своё одобрение, своё восприятие их.

Оторвавшись от работ, Петя говорил мне: — Твой отец — молодец! Работы — люк! Не как либо что, а что либо как! Наш хлопец. Это наша Украина.

Особенно любил Беленок подчёркивать это украинское: вот, мол, видите, какие мы все, украинской землёй возвращённые, гарные люди! Сами видите, сколько у нас настоящих талантов.

Он и по-человечески очень любил моего отца. Сядут, бывало, в сторонке от всех вдвоём, беседуют по душам — иногда и на мове, по-украински. А то и поют, вдвоём, — украинские песни.

И отцу моему симпатичен был Беленок. Всегда он меня о нём спрашивал: «Как там Петя?» Приветы ему, разумеется, передавал.

Сближала их — любовь к родной природе. И даже не сближала, а роднила. И верность родине. И песням. И, конечно, — незыблемая верность их — искусству.

Выходец с Украины, из-под Чернобыля, Петя Беленок тосковал в Москве. Жил как на чужбине. Однако не возвращался. Да и куда было возвращаться? Тем более, после аварии на Чернобыльской атомной электростанции, которую Беленок заранее предчувствовал и последствия которой с потрясающей силой выражал в своих многочисленных работах (вот загадка: где же все они теперь?), и возвращаться-то было некуда: родное село — оказалось в зоне.

Петя тосковал. Выпивал. С годами — всё более в себе замыкался. Доходило до того, что месяцами он из мастерской, а потом и из квартиры своей, на улицу не выходил. И происходило с ним — что-то очень уж тяжёлое, страшное, что он всячески стремился от друзей, от знакомых — скрыть, по традиции защитной своей отшучиваясь, остра, переводя разговор на другую тему.

А его тема была — родина. Эту духовную нить, незримую связь Петя сызнова чувствовал только в беседах со мной. Только в нашем долгом, доверительном, плодотворном, дружеском по-настоящему общении он порой раскрывался.

Пожалуй, один я — из всех — и знаю его таким, каков был он. А человеком был он чистым, грустным, ясным — как песни, что певали мы вдвоём, те песни украинские, что встарь звучали — там, в подвальной мастерской на Абельмановской, потом — на кухне полупустой его квартиры, где близко, в двух шагах, через дорогу, чуть шелестело листьями Кусково, и вставшие на цыпочки деревья заглядывали ночью к нам в окно.

И сколько раз подобное бывало, и сколько добрых слов — не счастье — я слышал, от множества

знакомых об отце и творчестве его в былые годы! — в шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах.

В своих пейзажах отец мой так выразил дух, душу и свет наших степей, с их реками и облаками, берегами, заросшими вербами и тополями, с их холмами, садами, селениями, с их временами года, чередующимися столь же естественно, как естественна, чиста, светла, щедра и земля эта, с их состояниями природы, с проявлениями силы их и красоты, со всей растительностью их, всею тайной и всею славой,—как никто, пожалуй, не сумел больше этого сделать.

И его органичное, светлое, созидательное и целительное творчество, его акварели, полные музыки, и добра, и внимания к естеству, и понимания сущности мира, космической сущности, и вселенских незримых связей, и невидимых нитей духовных в пространстве и времени, и гармонии мира, и любви, и единства сущего, повлияли, слава Богу, на меня—благотворно, хорошо, вовремя повлияли, помогли мне в моём становлении творческом куда больше и серьёзнее, нежели многое другое.

Несмотря на то, что по образованию своему я историк искусства, не стану я сейчас рассказывать подробно об отцовских акварелях. Рассказ об этом пусть придёт в мои тексты сам. Скажу только, что у отца было немало персональных выставок, и людям, приходившим на эти выставки, отцовские работы очень нравились, люди чувствовали в них—своё, родное, чувствовали—дух и свет своей земли. Об этом свидетельствуют и многочисленные благодарные, нередко и восторженные, записи в сохранившихся книгах отзывов, оставшихся в родительском доме, и публикации в прессе.

Отец, помимо того что рисовал, ещё и всегда сам окантовывал свои работы. Под стеклом, в паспарту, в раме, акварели делались, мне казалось, ещё выразительнее и сильнее.

— Глубина у них появляется! — объяснил мне отец. Он сам делал рамы, сам их красил, покрывал лаком. Сам нарезал стекла нужного формата. Сам находил наиболее подходящее оформление для каждой работы—и я привыкал вот к такому именно виду конкретной работы, и потом, иначе оформленной, мне уже трудно было её представить.

Он сам привозил или приносил свои работы на каждую выставку, если таковая была в нашем городе, сам обдумывал экспозицию, сам развешивал работы.

Когда-то, во время учёбы моей в мгу, преподававшая нам директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина, «пушкинского», или

«на Волхонке», как мы его называли, Ирина Александровна Антонова, поставила мне пятёрку за экспозицию.

Отцу моему я поставил бы три пятёрки, с плюсами.

Его вело чутьё.

Во всём, что он делал, была гармония.

Интуитивно всегда находил он самое верное решение, что бы ни делал он, чем бы ни занимался.

В нём было много наивного, детского. Он был—чистая душа. И ещё он был не просто светлым. Просветлённым. Когда в шестидесятых годах, в Старом Крыму, навещал я, бывало, Григория Николаевича Петникова и слушал его рассказы о друге его молодости, Велимире Хлебникове,—я всегда вспоминал своего отца. Что-то свойственное Грину было в нём—и что-то свойственное Хлебникову. И некоторая схожесть их обликов была чудесна—в духовности, в чистоте этой и наивности, в отрешённости от суеты мирской, в сосредоточенности—в себе, в красоте этой, внутренней прежде всего, да и внешней отмеченности, выразительности лиц их и судеб,—прозревал я родство этих душ, прозревал, различал эти нити духовные, эти незримые связи, которые чуешь вначале, а потом уже различаешь. И всё же, во всём совершенно, был отец мой—самим собою и никем, никогда, иным. Личность—вот что сразу чувствовали все без исключения, от простых людей, с улицы, до людей искусства. И ещё—сберегающий тайну. Хранитель традиции. Ведический человек. В одиночестве светлом своём—долголетнем, земном. В устремлённости к небу. В подвижничестве и затворничестве. В этом жречестве, в этом служении истине праведном. В творчестве. Где весь мир—его дом.

Отец, щедрая душа, любил дарить людям свои работы. Иногда он дарил одну-две акварели. А иногда раздаривал их чуть ли не пачками. Причём остановить, сдержать его в таких случаях было невозможно. Ему нравился сам процесс дарения. Ему вообще нравилось делать что-нибудь приятное, хорошее симпатичным ему людям. А если человек оказывался понимающим, если отец чувствовал, что работы его такому человеку дороги, что чувствует он их по-настоящему, глубоко, что они близки такому вот чуткому, чующему их полнотой, осознающему их сущность, воспринимающему их особую музыку живописную, их ясный свет, серьёзному, толковому зрителю, собеседнику, ценителю,—тут он волновался, вдохновлялся, был растроган, обрадован—и, как правило, делал этакий широкий жест, осуществлял, так сказать, большое дарение,—и счастливцу такому, случалось, доставалась целая серия великолепных

пейзажей, просто так, от души. С удовольствием отец надписывал свои работы, дая их кому-то, причём дарственные надписи получались предельно искренними и трогательными, тоже — от души.

Дарить, отдавать, раздавать — чтобы радовать людей, чтобы радости, а с ней и желанного света, больше в мире стало, — это было его, врождённое, родовое и вместе с тем — осмысленное, сознательное, целенаправленное и упрямое, именно отцовское, творческое, — в порыве, по чутью, жертвенное в известном смысле, может, и ритуальное даже, а может, и магическое действие, — да и праздничное, быть может, — ну да, потому что подобные ситуации, когда ясны были и понимание, и взаимопонимание, и высекался огонь доверия, а с ним и веры в искусство — для собеседника, принимающего дары, — были для отца всякий раз, неизменно, — праздником.

Всегдашнее стремление Божьего дара — одаривать и других.

На то он и Божий дар, чтобы не быть эгоистичным, чтобы не замыкаться только на себе самом.

На то он и дан, Божий дар, человеку, художнику, чтобы отдавать на пути своём в мире, пусть и называется этот мир юдольным, чтобы целыми пригоршнями раздавать, чтобы любыми мерами и ёмкостями, что под руку подвернётся, — берите, держите, всё — ваше, всё — для вас, добрые люди, — раздавать напропалую, безоглядно и вдохновенно, это свечение, это сияние, это слияние с естеством, и Вселенной, и космическим разумом, эту взаимосвязь всего и со всем, это единство всего сущего, сущего, душу художника не гнущего, но по жизни ведущего, сущего — для грядущего, там, в грядущем, потом, понимании полного ждущего, — и оно, понимание, — будет.

Вначале добро — творить.

И тут же добро — дарить.

Отец, как некогда Зердест Спитама, называемый Заратуштрой, по-своему решал извечный вопрос о добре и зле в мире. И так же, как и Зердест, сын Догды и Старошаста, твёрдо верил в окончательное торжество добра над злом.

Человек — говорил Зердест — обладает свободной волей и может сам выбирать между добром и злом.

Отец мой выбрал — добро.

Истинным человеком — так говорил Зердест — может быть назван лишь тот, который, сердцем своим исповедуя правую веру, всеми своими силами всегда стремится содействовать победе добра над злом: противится вредному и плохому, приветствует всё полезное и хорошее, берёт под своё покровительство и опеку все создания,

приносящие пользу, воздвигает землю, соблюдает законы и правила, чит священнный огонь, воду и землю, отродясь не лжёт, сдерживает страсти свои и желания.

Мой отец был — таким.

Когда Зердест напрямую спросил Ормузда, светлого бога: какое из Божьих созданий самое лучшее? — Ормузд ответил ему: лучше всех — человек, чистый сердцем.

Отец мой — сердцем был чист.

Он, как и Зердест Спитама, умер на семьдесят восьмом году жизни.

Для меня он — жив.

Зердест. Украинское «зір» — «зрение». Дающий зрение. Спи-та-ма. «Спросить» по-украински — «спитати». «Ма» — это «мать». «Ма!» — говорят дети. «Ма» — это и «мя», «меня». Спроси — меня. Ну прямо украинского, читай — древнерусского, давне-русского, типа — имя и родовая, из рода Спитамидов, фамилия у русского пророка. И почему это он к персам причислен? Ну, бывал там, жил некоторое время, проповедовал своё учение. (Впрочем, персы — от русского корня. Вспомним Рама, с его исходом, вместе с частью народа нашего, из Поднепровья — на восток, поначалу — на территорию будущей Персии, где основан был им город Вер, и только потом уже — в Индию, в страну, созданную предками нашими, название которой дали они по имени реки родной, Днепра, — древнего Инда.)

Родом Зердест — с Южного Урала. Из города Агарти (Гдани). Из страны Ариана-Веи — Арьяварты.

Не столь уж далеко от этих мест, от Аркаима, где Зердест, предательски убитый в спину, ножом, жрецом Рарогом, судя по всему, и похоронен, поскольку с юга возвратился он сюда, неподалёку от его родной земли, — родина моих предков по материнской линии. Селение Сарма. На берегу реки — Большого Иргиза. Сар-ма. «Сар» — это «царь». «Ма!» — говорят дети матери. Мать царей? «Ма» — это и «мя», «меня». Царь — меня — основал? Сарма. Сар-матия. То есть — та же Русь!

В Кривом Роге, на родине отца, на Гданцевке, где я вырос, была Царская Могила — особо почитаемый народом курган. Стоял он на низинном берегу Ингульца — Пантикапеса скифов. «Панти» — это «путь». «Капа» — «рыба». Путь рыбы. И действительно, очень рыбная была река, ещё и в довоенное время, в двадцатые и тридцатые годы, — это мне отец рассказывал. Местность, заречная, тихая, закрытая от степных ветров высокими прибрежными холмами, которая уже где-то на грани девятнадцатого и двадцатого веков стала называться Гданцевкой, раньше так и называлась — Царская Могила, и одновременно называлась — Тихий

Притулок, то есть Тихий Приют, Тихое Пристанище—так, приблизительно, по-русски, сейчас можно перевести. Но ведь было, с таким же значением, как и на украинском языке, хорошее русское слово—«притул». И ещё—«притулье». То есть «приют», «пристанище», «пристань». Убежище, кров и защита. «Ни притулу, ни затулу»,—поговорка русская. А здесь—был притул. Так и следует перевести—Тихий Притул. Ну, ладно уж,—приют. «Курган» по-украински—«могила». Их много в наших краях. Царскую Могилу—почему-то снесли, срыли. А делать этого, да ещё этак вот, варварски, не зная, что к чему, никакого понятия не имея о том, что творят,—не следует. Мало ли какая энергия высвобождается тогда? Жреческая магия, пусть и многотысячелетней давности, силу свою вечно сохраняет. Древние наши жрецы, несколько тысяч лет назад,—очень многое знали—из такого, к чему нынче люди, ищущие ответы на множество вопросов, только робко приближаются. Да и земля у нас, почва,—особенная. Выше я говорил об этом. Но мы жили на Гданцевке. В Тихом Приюте. Как в раю жили. Возможно, высвобожденная энергия, щадя людей и природу, и помогала нам.

— Там наші петри!—говорили порой старики. «Петри» по-украински—это «паттары». Пращуры, предки. «Пішов до петрів»—значит, умер кто-то. Так говорили.

Бабушка Марфуша, отцовская мать, в молодости—красавица, южного, восточного типа, смуглая, черноволосяя, глазастая, которую в детстве называли в селе—цыганча, всем обликом своим вероятно походила на женщин, которых мы видели в индийских фильмах. И немудрено. Из наших же приднепровских краёв и увёл в своё время часть народа Рам—в Индию. Старики говорили, что позже, спустя долгие столетия, часть народа снова вернулась обратно, на родину, в приднепровские степи,—да ещё люди принесли с собою вишню. И разрослись вишни по всей Украине.

Моя бабушка по материнской линии, Пелагея Васильевна Железнова, урождённая Кугузова, родом из Южного Поволжья, с берегов Большого Иргица, из Сармы, часто рассказывала мне, что род наш—очень древний. Мы, в семье, звали её бабой Полей. Она тоже была красавицей в молодости, но другого, более светлого типа, да и всегда, всю жизнь, была именно красива—и внешне, и духовно. Она обладала просто феноменальной памятью. Мне открывались в детстве, благодаря ей, сокровища фольклора. И редкостное благородство было в ней, чистота сердца и души. Ах, бабушка! Скольким я ей обязан!

Все женщины в нашем роду были—красивы. Так повелось, так выходило. Мама моя—красавица.

И духовно, и внешне. А ещё—есть в ней сила великая. И обе дочери мои, Мария и Ольга,—тоже красавицы.

В поволжских степях, на родине бабушки и мамы,—река Большой Иргиц, селение Сарма.

В украинских степях, на родине отца,—река Ингулец (Пантикапес—скифов, Хингули—ведической древности), город Кривой Рог, и в нём—наша Гданцевка, где был Царский Курган.

В Поволжье—древний русский род, сарматский, материнский.

И на Украине—древний украинский, то есть тоже русский, скифский род, отцовский.

Недалеко от Гданцевки, в нескольких километрах к югу, за поворотом реки,—родное село отцовское.

Там, на берегах Ингульца, несколько старых сёл.

Сичевановка (от украинского слова «сич», то есть—«сечь», Запорожская Сечь),

Скелеватка (украинское «скеля»—это, по-русски, «скала»,—и действительно, берег реки порою высок и скалист, а ещё скала—символ стойкости духа, и недаром Тычина сказал: «Стою, мов скеля, непорушний»—«Стою, как скала, несокрушимый»),

Ново-Николаевка, где мы, в сорок шестом году, всей семьёй приехав с Урала, некоторое время, в доме бабушки—отцовской матери, жили, да и позже сюда погостить приезжали летом,

Новосёловка—вплотную к Ново-Николаевке,

Шамановка (не случайно это название—и шаман, из прапамяти, ну а может, из памяти более свежей, далеко не случаен),

Катериновка—на другом берегу,

Латовка—на другом берегу, на отлогом,

Рахмановка (вот и рахманы, из древних легенд украинских, то ли мудрейшие, лучшие из всех живущих людей, то ли умершие пращуры,—ещё в старину, в незапамятные времена, ушли с Украины, родной земли своей, далеко ушли, за Синее море,—и с той поры, все годы, в день церковной Пасхи,—по-украински «Пасха»—«Великдень», и слова этого ведическая суть—день Брахмы, Велесов день,—бросают люди в реку скорлупу от крашенок-яиц, чтоб весть река рахманам принесла—отсюда, с родины,—увидев скорлупу, свой Великдень они за морем пусть отметят,—и есть второй, Рахманский Великдень, когда у нас на Украине покойных родичей смиренно поминуют,—но всё-таки не все ушли рахманы за море Синее, и брахманы-жрецы не все ушли отсюда, и волхвы не все исчезли,—нитью ли духовной, незримой связью ли, сквозь время и пространство, мышление проходит стержневое, исконно русское, и нет ему преград, и что ему запреты и гоненья, когда грядёт, уж скоро, возрожденье родного дома, духа, света и пути,—тогда и ты мои страницы перечти).

Некоторые из этих сёл основали мои прямые предки, запорожские казаки, которые, после упразднения Екатериной Второй этой степной, приднепровской вольницы, Запорожской Сечи, можно сказать — государства в государстве, страны козаков — кшатриев — воинов, осели на этих приречных, чернозёмных, плодоносных землях и постепенно превратились в хлебопашцев, садоводов, огородников, то есть сельчан, по-украински — селян, весьма вольнолюбивых, впрочем, колоритных и талантливых даже в ведении своего хозяйства людей, но прошлое своё — не забыли.

А несколько подалее на юг, почти на юго-восток, неподалёку от Днепра, есть в степях таинственное урочище, связанное с нашим родом по отцовской линии. Периодически вспоминаю о нём — но не раскрываю тайн.

Все эти совпадения, сближения — не случайны.

Что сблизило отца и маму? Что заставило моих родителей приехать после войны на отцовскую родину? Я знаю — что. Призыв отцовской матери, моей бабушки Марфуши, урождённой Бурлаченко, фамилия которой происходит от украинского слова «бурлака» — «вольный козак», «свободный человек», — призыв её, даже — властный приказ: вернуться на родину предков. И жить именно здесь. Что отец мой и осуществил. Для него они были едины — мать родная и мать-Украина. Так я и вырос здесь, в украинских вольных степях, на родине предков своих.

Морозная цвела на стёклах вязь — на речь в ночи немое притязанье, — и должно ли, улыбочиво склонясь, рассматривать старинное вязанье, что, памятью заволжскою светясь, печаль уже наваяло степную? — продлись, мой род! — не рвись, живая связь! — сквозь время щурясь, всех я именуя!

Были предки исполины — благодать на воле! — были души исцелимы от хандры да боли. Были судьбы опалимы огоньками дали — от Урала и до Крыма пели да рыдали. От ушедшего к закату ключ не оброните, отыщите же когда-то связанные нити. Багровеет под ногами, вспыхнув гранью среза, берегами Саксагани скифское железо.

И лакмоствами полная кошница, и соль земная в старом узелке, и всё, что впредь, наверно, отоснится, ещё и здесь — и где-то вдалеке. Ещё стоят над кряжами туманы, но свет за ними чудится сплошной — и где-то там, за Индией, — рахманы во всём блаженстве жизни островной.

Степной изъезженный простор, малороссийский, не монгольский, уклон, порывистый и скользкий, подъём, неспешный до сих пор, тот путь

кремнистый, как-нибудь, а всё же к югу выводящий, из мрака на море глядящий и не смущающий ничуть, всё льющий млечную теплынь, да вьющий нити смоляные в часы пустынные ночные, да раздвигающий полынь, речною плещущий волной, листвою струящийся незримой, чтоб голос пел неповторимый о том, что сбудется со мной.

Между прочим, Юрий Петрович Миролюбов, тот самый, что, находясь в эмиграции, переписал с дощечек «Велесову книгу» и тем самым её спас, до революции жил именно в наших краях, чуть севернее Кривого Рога, и даже, скорее, в окрестностях города. Именно здесь слышал он от стариков много интересного о старине нашей, наблюдал различные древние обряды, случаи чудесного исцеления — обычные в практике сельских знахарей, встречал ворожей, знатоков подлинных Вед, узнавал поразительные подробности быта народного, прочными корнями связанного с ведическими временами, как и народная духовность, как и народное творчество. Именно здесь начал делать он свои первые записи об увиденном и услышанном. И хотя изрядная часть миролюбовских записей была утрачена в годы революции и Гражданской войны, немалая часть их всё же уцелела — и в дальнейшем послужила основой для большой серии написанных этим, выходит, земляком моим книг, незаменимых для слишком долго лишаемых исторической памяти современных людей, которые хотят знать, кто же они такие на самом деле есть.

Что за радость и что за величие в этой песне сплошной, в этом ставшем родным безграничье, где пахнуло весной, где шумерской тоской между речья сквозь прапамять ветвей и корней будет край мой охвачен за Сечью до скончания дней.

Чтоб услышать поистине странный предзакатный старинный рассказ о героях из Трои туманной, о потомках троянцев среди нас, — встань вот здесь, где в саду, за верандой, мы беседуем тихо в тени, — да и розу называли трояндой не случайно в минувшие дни.

Не лишним будет заметить, что и я, ещё с детства начиная, в наших краях немало чего повидал и услышал от старых людей, о чём обязательно постараюсь ещё рассказать. Это — к слову. Но к слову, разумеется, — ведическому. Как и вся моя родина. Родина речи.

Верни заветное, дыхание продли давнишней радости и нынешней печали, со мной в затворничестве участь раздели и в мир войди со мной, — чтоб так же, как в начале, тобою полнилась расплещнутая мгла — и вера ясная с надеждой возростала,

с любовью крепнула, хранила и вела,—пойдём же, речь моя,—пора моя настала.

Здесь и повсюду, ночью и днём—Дух, Свет, Путь; знать, это чудо,—то-то с огнём—жуть, нить, суть. Мира не спрятать, не изменить мхом, сном, льдом; душу в юдоли будут хранить—Бог, Речь, Дом.

Мой отец превосходно умел рисовать с натуры, но не любил этого делать. Рисовал он—по памяти. А память была у него удивительная. С ведической основой.

Любил он просто бродить по живописным окрестностям, наблюдать состояния природы. Иногда брал с собой небольшой блокнотик. Вынет его, сделает два-три штриха простым карандашом, понятных только ему, и достаточно. И убирал его. А порой и вовсе его не доставал. Просто—смотрел. Впитывал в себя увиденное.

Дома—рисовал. Работал быстро. Очень чувствовал ритм. На одном, долгом, свободном дыхании писал он свои акварели. Был перед ним—лист ватманской бумаги. Или просто—белой бумаги. Небольшого формата. Даже—маленький листок. Лист—пустой. Без ничего. Белый. Ждущий. И вдруг этот лист—начинал заполняться. Начиная оживать. На нём проступал—образ природы. Образ того уголка окрестностей, который хотел выразить в своей акварели отец. Образ—лицо. Образ—душа. Дух этого места, конкретного, узнаваемого, и вместе с тем—изменённого, трансформированного, обобщённого, преображённого воображением отцовским,—оживал. Какие-то детали измельчались, какие-то—укрупнялись. На бумаге оживало—само лицо этого уголка. Всё приходило в движение. Всё начинало дышать. И всё было пропитано, пронизано, поддержано, оправдано—дивным, ясным, чистейшим светом, исходящим от акварели. Она буквально пела. Она звучала, эта свежая, только что написанная отцом акварель,—звучала музыкой сущего. Звучала, отзываясь в сердце точнейшим образом выраженным состоянием—утра ли, полудня ли, вечера ли,—состоянием, бывшим в природе в то время, когда отец увидел его, услышал его, запомнил его—и только потом уже выразил.

Процесс рождения отцовских акварелей надо было видеть. Не выразишь этого словами, какими бы приподнятыми ни были они.

Я предпочитал не тревожить отца в то время, когда он работал. Ему нужно было уединение. Срабатывала наша семейная этика. Не хотел я отвлекать отца, мешать ему, перебивать настроение. Всё это понятно само собой. Правильно я делал. Но всё-таки—видел я, видел, и неоднократно, много

раз видел, как отец мой рисует. Употребляя это детское слово, хотя солиднее бы сказать—пишет. Ничего. Мы так между собой говорили: рисует. Рисование-то рисованием. Но изумляло всегда то, что в итоге перед тобою оказывалось очередное отцовское чудо! Потому-то и счастлив я был в свои детские годы, потому-то и сам так тянулся к творчеству, что жил—среди чудес.

Позже, когда я был уже взрослым, отец рисовал и при мне, и это нисколько ему не мешало. Но, конечно, предпочитал он работать—один. Там, в своей мастерской домашней, в саду, в тишине, в затворничестве, в отдалении—от суеты, от житейской, огорчавшей его, нелепости, подальше от стрессов, от хлопот, от забот, которые всё равно то и дело норовили задеть его ядовитыми жалами, локтями, злыми словцами. Он чурался хаоса. Он сторонился бессмыслицы. Он был очень раним. Слишком раним. Более чем раним. Слишком уж близко к сердцу принимал он всё, что происходило и с ним, и с родными, и со всею страной. Слишком близко. Но как же—иначе? Иначе он и не мог. Всё в нём было обострено, каждый нерв его. Всё он чувствовал точно, мгновенно. Защищался—работой. Спасался—работой. Фронтовик, повидавший на войне много чего тяжёлого, видевший войну воочию, в лицо, переживший ранение, контузию, долгое лечение,—он никогда не любил говорить о войне. Он боролся за жизнь. Он воспитывал себя, заставлял себя быть здоровым, приучал себя—к действию, к постоянному, ежедневному действию. За день он многое успевал сделать. Весь дом был на нём, всё хозяйство. И сад, в котором, трудясь, отдыхал он душой. И семья была для него—самым ценным, что у него было. И творчество его было столь же естественным, сколь естественным, сколь подлинным был он сам—в семье, в быту, на работе, с соседями, со знакомыми, на рыбалке, на улице, дома, на прогулке—да где угодно,—был он просто самим собой. Но самым важным, самым главным, самым подлинным самим собой—был он в творчестве.

Некоторым казался он чудачком. Например, коллекционировал облака. Да, ему это нравилось. И сколько он облаков этих—написал! И какие они живые!

Некоторым казался он странным. Да, бывало. Идёт, вдруг задумывается. Прислушивается к чему-то—в себе ли, в природе ли. На вопросы отвечать мог рассеянно, невпопад. Или что-нибудь там ещё, из такого, что людей озадачивало, удивляло.

Ну и что? Да, казался он странным. Но в нём шла постоянная работа. Он ведь не только писал акварели, и всё. Он столько успевал нафантазировать, придумать, изобрести, что и на несколько

десятков людей хватало бы. Я уже говорил об этом. Он был—уникум. Редкий—по дарованиям своим—человек. Украинский Леонардо да Винчи прямо. Который тоже, впрочем, был потомком этрусков, а значит—русом. В нём шло движение творческой мысли. Его осеняло. Он знал озарения. Он прозревал—своё. Он хранил в себе—первозданное. Он открывал—новое. Он просто—жил, в конце концов! Жил—творчески безукоризненно, щедро, искренне, с полнейшей отдачей. Жил—как в музыке это бывает: когда звучание, когда сама гармония тебя ведёт и открывает на пути этом то, что может и хочет открыться она только тебе. Он жил—творя, создавая: свои образы мира, свой образ времени. Которое, соприкасаясь, соединяясь с любимым его степным, свободным пространством, вызывало к жизни—движение духа, парение духа, рождало—свет, и поэтому, видоизменяясь или вовсе уж становясь несколько иным понятием, о котором он что-то существенное, уж поверьте мне, знал, позволяло ему существовать так вот светло, независимо, просто, благородно, достойно,—и ещё оно, время, открывало ему грядущее.

И поэтому он—жив. И поэтому здесь, в многолетнем своём затворничестве, я беседую с ним, как и прежде. И я знаю, что сам я—такой вот как есть—плоть от плоти его, свет от света его,—и обязан я ныне сохранить и продлить этот свет, по возможности дольше, уберечь этот свет на безумной земле—потому что лишь с ним и дружна благодать. И любовь, и надежда, и вера.

И нет числа врачующим путям—земным ли только? только ли небесным?—виденьям надивившимся чудесным, что делать нам, неведомым гостям, негаданно явившимся из мглы на пир чужой—и мглою вновь сокрытым, чтоб людям, тенью зелени увитым, не знать о том, что думы тяжелы, но звёзды заповедные чисты, даруемые нам воспоминаньем,—и наши высветляются черты под этим исцеляющим сияньем.

Ах, отец, я и тысячной доли того, что хочу сказать, не сказал ещё о тебе!

И прослыл мудрецом, как дитя, кто-то странный, чуть видный в окне,—и, бессмертье в любви обретя, так и прожил, от всех в стороне, чтоб с огнём и с водою срослось всё, что к чуду сквозь наледь рвалось, чтобы всё, с чем расстаться пришлось, возвратилось и в рост поднялось.

Открываю, бывает,—в Москве ли, в Коктебеле ли, в Кривом Роге ли,—папки с отцовскими акварелями. И вот—смотрю их, всё смотрю их. И дышу—их летом, осенью, зимой и весной.

Где паутинкою, летящею с полей, ты нить найтись не отыщешь, покада не прикажет Водолой идти,—и с прошлого не взыщешь за то, что столько было на пути всего, что сызмала томило, чтоб смог потом и ты, как ни крути, коснуться старого кормила, ветрила новые поставив на челне, рекой пускаясь без оглядки туда, где замыслы, не ясные вполне, роились исподволь, с тобой играя в прятки, туда, где домыслы двоились и росли, туда, где вымысла с годами было мало, чтоб там, где марево не таяло вдали, тебя мгновенно что-то поднимало—и мучило, и сизнова вело куда-то дальше, глубже, выше—за грань доступного, где нечто расцвело, разбухло гроздьями, отпрянуло за крыши.

Надо жить. Возвращаться туда, где истоки твои. Возвращаться туда, где начало, где свет изначальный. Нет подобного больше, и подлинней этого—нет. Что же делать вот здесь, в одиночестве? Жить, восставая из тоски, из печали. За ними—спасенье твоё.

Где настанет, с тоской заодно, от пристрастий былых отречение, где всему, что исчезло давно, вместе с листьями плыть по течению, где нахлынет раскаянье вновь и пристрастья обратно вернутся, проживи—и pomoжет любовь до воскресших щедрот дотянуться.

Вот и всё. Ну а книга моя? Что же в ней за магия такая? Что за притяжение в ней? Зачем этот строй насыщен до предела и свободен? Некуда свободней—кто-то скажет. Нет, ещё вольней звук его, чем раньше был. Ещё бы! Нет препятствий сердцу моему в мире этом. Сердце это—бьётся. Всё во мне и я во всём—уж точно. Дни идут. И речь моя—жива.

Не дневник, но летопись такая, не ночник, но светопись тепла, чтоб весна, к холмам перетекая, тёмной влагой к окнам подошла. Если сон—смирись с ним отныне, если явь—сроднишься с ней, даст Бог, чтоб родник, струящийся в теснине, хоть однажды жаждущим помог.

Да, непросто бывает совладать с состоянием—перед рывком, вглубь и вдали.

Ничего, совладаем.

Об отце—о живом.

Он давно и хорошо понимал—кто он такой. Но жил он—в Кривом Роге, в провинции. Выхода на столичные выставки, лучше всего—в Москве, в прежние годы у него не было. Сколько раз я ни пытался ему с этим помочь—ничего не выходило. словно преграда непонятная всякий раз вставала на пути—причём оба мы с отцом физически

чувствовали наличие этой преграды. Что это было? Поди гадай теперь!

Отцу очень хотелось, чтобы люди видели его акварели в достаточно полной мере, чтобы могли составить о них должное представление. Чтобы его выставка — пусть одна всего, не за количеством ведь гоняться, — была полноценной, большой. А довольствоваться приходилось — выставками небольшими, по числу представленных на них работ, — хотя и персональными. Но это ведь были — частицы, клочки, разрозненные фрагменты его, отцовского, единого целого, некоего живописного лирического эпоса, в котором всё взаимосвязано, его гармоничного, целостного, органичного художнического мира. А в такой мир — надо войти, надо немалое в нём увидеть, чтобы если и не во всём, так хоть в чём-нибудь разобраться, чтобы осмыслить то, что предстаёт перед человеком.

Внимание, да и понимание, со стороны людей, зрителей, любителей, знатоков — было, конечно. Не такое, какого заслуживал отец, но было.

Множество отцовских работ, постепенно, в течение нескольких десятилетий, разошлось по частным собраниям.

Вспомнил сейчас, что в начале девяностых годов целую гору старых и новых работ, не только акварели, но и живопись маслом, которой отец как раз в эту пору увлекался, уж такой вот период был творческий у него, — незадорого, по смешным, как нынче говорят, ценам, скупили у отца какие-то работавшие тогда в Кривом Роге немцы — и увезли с собой, в Германию. Где они там, эти работы? Кто его знает?

Отец, скорее всего, просто обрадовался там, у себя, в провинции, в своих-то немалых тогдашних годах, такому вот повышению, я бы заметил — странному, по своей приткности и сообразительности, а для отца, в таких ситуациях, да и в других, человека по-детски наивного, ещё и — подумайте, надо же, в кои-то веки! — деловому, коммерческому вниманию, — со стороны наверняка поразивших его своей восторженностью — деловой, разумеется, и прежде всего — деловой, — но отцу-то какое до этого было дело, если видел он то, по чему стосковался давно, — ненаигранные восторги негладных зрителей, да ещё и притом покупателей, вроде бы и не обычных любителей, а хороших ценителей многообразных отцовских искусств, — небывалому вниманию заезжих иностранцев, желающих немедленно купить, и более того — в количестве внушительном купить, вот здесь, на месте прямо, вот сейчас, отцовские холсты и акварели, — и он расцвёл, потом разволновался, расчувствовался: ценят, понимают! — и взял да и отдал им, оптом, все эти сокровища — почти даром. И, само собой, вовсе не за немецкие марки, а за тогдашние

украинские купоны, что ли, с многими нулями, которые вообще ничего не стоили и которые тут же истрачены были на питание и на прочие житейские насущные нужды. А работы — ушли.

Или, в те же самые годы, — история с продажей отцовских работ через открывшийся в Кривом Роге художественный салон. Хозяин салона, помню, недоумевал: почему это Дмитрий Григорьевич назначает за работы свои такие низкие цены? И ведь раскупают их охотно и быстро! Мог бы и цену поднять. Всё равно покупали бы. Но так думал — хозяин салона.

Отцу же — просто приятно было, что работы его покупают. И он рисовал, рисовал, рисовал. И приносил, приносил, приносил в салон всё новые вещи. И они тут же, по символическим, самолично отцом назначенным, идеально устраивающим покупателей, ценам, — незамедлительно приобретались людьми. И, соответственно, — исчезали, исчезали, исчезали из поля зрения.

А отец — был по-детски доволен. Ему, в сущности, наплевать было на количество денег. Ему куда важнее было знать: его работы — у людей, их покупают — значит, ценят, смотрят, их собирают — значит, в самом деле довольно многим — они нужны.

Ни в этой путанице и чехарде со сменой денег, ни в курсе рубля, вообще в этом валютном, денежном, купонном хаосе, нагрывавшем внезапно, всех смутившем, обрушившемся так неотвратимо на головы растерянных сограждан, вдобавок ко всему и разделённых, как будто разведённых по загонам, определённых на жизнь в отдельных, с их мнимой независимостью, странах, — отец и вовсе сроду не разбирался. Да и не нужно ему просто всё это было.

Помню, гостил он у меня в Коктебеле. Осень девяносто третьего, солнечно, тепло. Сидим мы с ним вдвоём, отец с сыном, беседуем о том о сём. И вдруг он говорит мне, с необычной для него, таинственной, заговорщицкой интонацией в голосе:

— Володя! Хочу тебе кое-что важное сказать.

Смотрю на него, внимательно, удивлённо: — Что, папа?

Отец, понижая голос, почти шёпотом:

— Ты знаешь, сынок, — у меня есть миллион!

Господи Боже Ты мой!.. А я-то уж думал: мало ли что?

Я, уже начиная догадываться, но на всякий случай:

— Чего — миллион?

Отец, полушёпотом:

— Денег!

Я, уже улыбаясь:

— Каких же?

Отец, с откровенно победным видом:

— Как это — каких же? наших, конечно. Дозволенных. Тех, что сейчас ходят. Украинских.

Выдержал паузу. И, торжествуя:
— Заработал, сынок. Это — за мои картины.
Я, разводя руками:
— Папа! Но твой миллион ничего ведь не стоит.
Это ведь, по существу, одни нули, да и только!
Отец, почти обижаясь:

— Как это — ничего не стоит? Это ведь — миллион!
Смотрит на меня в упор, явно гордясь, младенчески чистыми глазами своими. Ну ребёнок
сущий. Игрушке новой радуется.

Попробовал я было втолковать, что к чему. Да
махнул на это рукой. Бесполезно это. И ни к чему
это делать. Зачем разуберять человека? Зачем
огорчать его? Всё равно ведь отец по-своему всё
представляет. Всё равно в его фантастическом во-
ображении — это действительно миллион. Целый
миллион. Настоящий. Заработанный им честно.
Вот представьте, на старости лет. И — пожалуйста,
миллион. За собственные свои картины. Так и
верил отец; у него — миллион. А не ворох пыльных
нулей. Даже тогда, уже вскорости, когда и нули
эти в натуральную пыль превратились.

Не прилипала к нему житейская шелуха. Из
особого, видимо, теста был он создан. Из света
над миром. Человеком был в мире — высокого
ранга. И высокого — в небе — полёта.

Вот, отвлёкся ненароком. Заговорил уже о пост-
советских временах.

Но ведь это — отец мой! И всё к лучшему.

Ну а теперь вернёмся в годы прежние, когда...
...отец мечтал выставиться, когда-нибудь, хоть
один раз, так, чтобы виден был и ясен стал зрите-
лям его лирический эпос, его мир и его путь. Отцу
крайне важно было, чтобы его работы — смотрели.
И тогда он — взял да и подарил большое число
акварелей. Много. Первоклассные работы. Среди
них, через одну, — настоящие шедевры. Да что там
вспоминать сейчас, прикидывать, если и так ясно
мне, что уровень этих раздаренных работ был
высок, чрезвычайно высок. Только вздыхать о
них и остаётся.

Итак, подарил. И кому же? Часть — заводу «Ком-
мунист». Часть — в рабочее общежитие. Целую
выставку — Дому культуры, где он долго работал, —
с условием, что там будет висеть его постоянная
экспозиция. И, несколько позже, ещё изрядное
количество работ — одному научно-исследова-
тельскому институту, в котором он, сравнительно
недолго, работал дизайнером.

Столько лет уж прошло, как нет на свете моего до-
рогого отца! И что же случилось с его раздаренными —
вроде, как считал он, на пользу людям, — работами?
Их — растащили. По одной, по две. А то и пачками.
Так, на память. Потому что нравились они людям.

...В стране всё перевернулось вверх дном.

Была — империя. Советский был Египет. И вдруг
он — рухнет? Сгинет в одночасье?..

Египет — был, и нет его. Зиянье. Искусство —
остаётся навсегда.

Спит отец мой в земле родной. Для меня он — жив
навсегда. Свет искусства дарил он щедро, ясный
свет — сквозь ночные недра, чтобы люди светлее
были. А работы его — растащили.

Висевшие на виду в перечисленных выше зданиях
акварели отцовские стали практически бесхоз-
ными. Их можно было преспокойно снять со стены,
унести к себе домой. Прямо на глазах у всех. Никто
и не почесался бы. Никакого контроля, никакого
учёта. Некому за ними присматривать. А ведь
хорошие! Нравятся! Вот так, по частям, вначале
постепенно, с оглядкой, а потом всё быстрее, всё
шустрее, потому что чего там теряться — наоборот,
надо брать, пока есть, пока бесхозное это добро
безнаказанно унести можно к себе, в свои дома и
квартиры, где картинкам спокойнее будет, и в доме
с ними радостнее жить будет, — всё и растащили.

В один из прежних своих приездов в Кривой Рог,
к маме, на склоне минувшего века, в девяносто
девятом году, зашёл я в Дом культуры, специально,
чтобы посмотреть: что там с отцовской постоян-
ной экспозицией?

Зашёл я с главного входа. С главного. Некогда —
славного. Словно с листа заглавного — в песнь о
культуре. В оду. В оду — читай: свободу. В давнюю.
И — родную. В пятое время года. В некую даль зем-
ную. В ясную высь небесную. В глубь за незримой
гранью. В явь. Для меня — чудесную. К тайне и к
пониманию. Как, впрочем, и полагается. Как в
детстве ещё заходил. (Так вот — стихи слагаются.
Кто бы сие подтвердил?)

Открыл я тяжёлую, скрипнувшую ржавью,
совсем нежданную, изрядно меня смутившую и
сразу насторожившую, входную знакомую дверь,
шагнул широко, привычно, как в годы былые,
когда был я здесь частым гостем, в подавшийся
мне навстречу прохладный, куда прохладнее, чем
некогда, полумрак — и оказался внутри.

В нижнем вестибюле, вслед за полумраком, ко
мне навстречу качнулась дежурная, будто мате-
риализовавшаяся из него, из полумрака, который
действительно был ни то ни сё, так, некая поло-
винчатость, неопределённость, и только. А может,
был он жутковатой оболочкой пустоты.

В прежние — вешние, нежные, может быть,
чутьочку грешные, с грустью, всегда неизбежную,
радостью, блажью неспешною, тенью под старой
черешнею, стайкою птиц над скворешнею, болью,
порой безутешною, верую, вестью нездешнею

о небывалом и новом, чуемой в мире суровом сердцем, душой и хребтом, всем, что пришло на потом, всем, что гнездилося в груди, всем, что ждало впереди, чтобы сбываться и впредь, чтобы учиться смотреть прямо в глаза бытию здесь ли, в родимом краю, в землях ли чуждых, куда лишь кочевая звезда вдруг уводила меня, в свете ли каждого дня,—чистые времена—такого здесь не наблюдалось.

Я объяснил возникшей из этого слишком уж странного полувоздуха, полувакуума, всё ещё этак расплывчато, призрачно, бестелесно, как в голливудском фильме ужасов средней руки, зыбко, туманно, привычно покачивающейся, нет, пошатывающейся, что ли, висящей передо мною, весьма условной дежурной, с какою конкретной целью пришёл я сегодня сюда. Она, плывя в пустоте, прямо как в невесомости, отшатнулась куда-то в сторону, бестелесная,—звать директора.

Им, директором, оказалась немолодая с виду, но зато всю молодящаяся дама, весьма умеренно, хоть и с точным расчётом, раскрашенная, в заграничном, строгом, неброском, но добротном, не из дешёвых, и приятном для глаз костюмчике.

Стало быть, директриса. Директриса. Отчасти—актриса. Нет, не кэрроловская Алиса. Проповедница компромисса. Смысла здравого. Взгляда торгового. На любой—в поле зренья—товар. На гешефт. На желанный навар. Бизнесвумен—пошиба нового. Современная дама. Начальница. Ни о чём—никогда—не печальница. Не кикимора вовсе. Кто же? Кукла, может быть? Что ж, похоже. Механическая мадам. Ей игрушки—не по годам. Не про таких ли—песни из Одессы? Есть у неё другие интересы.

Я рассказал ей доходчиво, кто я и что конкретно здесь, во владеньях её, хочу непременно увидеть.

Молодаясья директриса, помолчав с полминуты, не больше, несколько напряжённо, растерянно и достаточно путано, так, что этого нельзя было не заметить и тут же не насторожиться, не глядя в глаза мне, как-то глухо пробормотала, что, мол, конечно, да, пожалуйста, разумеется, безусловно, идите, смотрите, это всё там же, в том же, прежнем, вон там, помещении, раз уж вы помните, знаете, да вы знаете, там, где и раньше.

И ушла. Да не просто ушла. Нет, исчезла. Разом пропала. Так, словно вдруг испарилась. Ни следа от неё не осталось. И намёка не сыщешь нигде. Ну, испарилась. Бывает.

Направляясь к помещению с отцовской экспозицией, я успел заметить, что библиотеки в Доме культуры уже почему-то не было. Словно вырезали её из массива знакомого здания какими-то жуткими, ржавыми, тупыми, громадными, видимо, чудовищными, наверное, из кошмаров, из бреда, ножницами—да и выбросили куда-то, подальше

отсюда, чтобы и следа от неё не осталось, чтобы вовек её не найти ни читателям, ежели есть таковые в наше-то время, ни кому-нибудь из людей, коим дороги дни былые, кто придёт сюда, вроде меня, ностальгией, что ли, ведом или чувством необъяснимым, для которого нет преград в этом сумрачном настоящем, в мире, трудном для душ и сердец. Точно вырвали с корнем её. С кровью вырвали. Упразднили. За ненадобностью—изъяли. Зачеркнули—тут же забыв. Странно. Куда же она, хотелось бы знать, подевалась? Всё-таки—библиотека. Пусть не Александрийская. Пусть поскромнее. Но всё же... Как же людям—без книг?

Поразило меня, даже ранило, так вернее, и совершенное, безнадежное, беспредельное, без малейших признаков даже человеческого присутствия, очевидное до такой бесконечной, безграничной степени, что в сознание не укладывалось, как ни тщишься ты его постичь, фантастическое безлюдье. Беспросветное. Без луча пресловутого—в тёмном царстве. Без спасительной ариадниной нити—в нынешнем лабиринте. Без возможности перемолвиться с кем-нибудь на пути хоть словом. Без намёка пусай—на то, что кого-нибудь вдруг да встретитишь. Беспощадное. Так-то. Глухое. Стабильное, так сказать. Ни одной души. Ни единой. Тихо, как будто в склепе. Мраморные широкие лестницы, прямо дворцовые, ведущие плавно, степенно, без суеты излишней, без торопливости всякой пустой, на второй этаж, почему-то перегорожены какими-то непонятными щитами, нелепыми загородками. Будто здесь баррикады уличные возводили. Паркет на паркет не похож. Так, нечто невзрачное, мутное, полускользкое, полушершавое, ржавое, тусклое, стёршееся—там, внизу, под ногами. Оконные стёкла немые. Давно, пожалуй, немые. Какие-то демонстративно, подчёркнуто, вызывающе, по-хамски, вульгарно, брутально, как-бы-временно грязные. А может, и зря я вот так, сгоряча, с досады,—о них. Может быть, просто—забытые, отупело-усталые, брошенные на произвол судьбы, совершенно кем-то запущенные. И такое может ведь быть. В любом, и особенно в нынешнем, случае—свет вовнутрь они, захиревшие, сырые, почти что не пропускают. Паутина в углу. Матёрая. И ещё, и ещё—паутина. Ошмётками, ключьями, сгустками, комками, нитями, прядями. Волокнами, мхами, махрами. И даже густыми сетями. И не только в углу. Повсюду. Пыль, сплошная. Нет, не из Киплинга. Пыль, в которой—полный, полнейший, омертвевший подобный штиль. Везде—вопиющие признаки запустения и уныния. Везде—приметы старения, разрушения, угасания. И нет за ними призраков былого. Неужто всё к гибели готово? Темно. Бывает ведь так непостижимо темно! Чем же наличие тьмы нынче предreshено? Пovalьно-темно. Провальню.

Подвально-темно. Буквально. Без крохи преувеличенно. Сплошные вокруг огорченья. Две-три лампы, грустно мигающие, тьму развеять не помогающие, в разных, дальних концах горят — и это на весь-то этаж.

Дежурная эта, призрачная, материализовавшаяся из мглы, темноты, запустения, покачивающаяся фантомом, почти бестелесная, полуплывущая в здешней нынешней пустоте, следом за мною движется. Вроде и в безвоздушном пространстве должна бы плыть — однако по полу всё же идёт, семенит, оказывается, пыхтит беспокойно, прямо на пятки мне наступает. Я обернулся к ней и вежливо ей объяснил, что дорогу давно, хорошо, даже прекрасно, знаю, провожатые мне не нужны. Отстала вроде. Отстала. Преследовать перестала. Зато набычилась, пялится издали серой волчицей.

Что это за изменения в знакомом Доме культуры? Что случилось? Зачем? Почему? Тишина повсеместная, дикая, тревожная, необычайная. Неестественная, неправильная тишина, и впрямь неживая.

Кошка по коридору прошла, ну, прошла бы, и ладно, так ведь слишком уж неразборчивого цвета, если взглядеться, кошка. Направилась кошка к дежурной, попыталась к ней как-то нехотя, механически, между прочим, по привычке, возможно, ластиться. Та её сразу шугнула. Кошка, представьте, даже ни чуточки не обиделась. Мотнула тусклой змеиной головой с уголками-ушами, вильнула туда-сюда паутинно-махристым хвостом да и ушла себе неизвестно куда восвояси. В пустоте легко растворилась. Растаяла вдруг в полумраке.

И тут с характерным хлопаньем, как будто разбухшая пробка вылетела из бутылки открываемого шампанского, распахнулась тяжёлая дверь упразднённого, за ненадобностью, очевидно, своё отжившего, потому-то и просто бывшего, где-то в прошлом, увы, растерявшего посетителей прежних, буфета. И я увидел на ней разукрашенную разудалыми, панибратски помигивающими, аляповатыми, по-диснеевски броскими, нет, ещё туповатее, будто из комикса, звёздами, зазывающую в никуда, не в воздушную, нет, в безвоздушную яму, и не в яму — в бездушную прорву, в галактическую пучину, или, может быть, прямо в пустоту ледяную, потому что дохнуло оттуда не просто зимой, а скорее — взрывно волной, и за нею — кошмаром: планетарно атомной долгой зимой, суемой и сумой, нищей почвой, холодным пожаром, ядовитой водой за кормой, из комиксо-космоса взятую впрок, покуда не вышел ей срок, ухмыляющуюся, похабную, залихватскую надпись: «Кафе „Зодиак“. Работает круглосуточно». И грянула тут же из этой бывшей буфетной двери — шальная, придурковатая, уродливая псевдомузыка. Кто-то из нынешних модных попсовых «как бы эстрадников» завопил,

замычал в усилителе, заурчал, заревел, завизжал. Дверь заскрипела, вздрогнула, затряслась, ходуном заходила. Выглянула из двери круглая, наглая, жирная, коротко, в лад с как бы временем, остриженная голова с оттопыренными, багровыми, словно их кипятком ошпарили, нестриженными ушами и с золотой, в два пальца толщиной, острой цепью. Наверное, думала, если способна была хоть что-нибудь, хоть когда-нибудь, изредка, думать, сквозь свой кайф, что я — посетитель. Сообразила, видимо, что не тот я вовсе, не тот, за кого она, как бы нижняя часть, известная всем, туловища, как бы — вроде бы! — голова, как бы сдуру меня принимала. Хмыкнула, помутнела. Стала белее мела. Сжала смурное рыло. Хваткую пасть закрыла. И скрылась за нарисованными китчевыми как бы звёздами. Втянулась исподволь, всосалась, ускоряясь, тусуясь в децибелах, испаряясь, в электрокакбымузыкальный грохот — и в Лету канула. Зачем ей зодиак?

Я прошёл, не замедлив шагов своих, не глядеть стараясь на выверты расплодившегося чрезмерно, разгулявшегося безобразия и не слышать стараясь рёва псевдопесни попсовой, мимо. И не рядом вовсе прошёл, не хватало ещё мучений, но — подальше от бреда, осторонь. Прошёл, держась, разумеется, на некотором расстоянии от какбыкафешного грохота. Открыл высокую дверь нужного помещения — того, где работы отцовские должны, я верил, висеть. Заглянул осторожно вовнутрь. Потом, помедлив, зашёл.

Там, за столами, теснящимися в странном, неестественном изобилии, склонившись над этими вытянутыми — в пустоту, в никуда — плоскостями, за компьютерами и какими-то другими машинами, может быть, вычислительными, ну а может — и вычитательными, уж не знаю, что это за механизмы такие, мигающие экранами, опутанные проводами, — сидели какие-то тихие, безликие, тусклые, непонятные молодые люди — молодые, казалось бы, люди, без особых примет, но не только без них, но и просто без лиц, ну а может быть — и без имён, с номерами — и только, со сплошными нулями в полустёртых, шаблонных, какбывременных их номерах, — все как один в хороших бесцветных, тусклых костюмах, все при галстуках, тоже бесцветных, кое-кто — в бесцветных очках, все на стульях сидели бесцветных, в эмпиреях своих безответных, в лабиринтах своих беспросветных, и похоже, что дело их — швах, — сидели всё в таком же, как и в вестибюле, как и в коридорах, полумраке, вакууме, в безвоздушном, пустотном, нездоровом каком-то, ненадёжном, условном, расплывчатом логове комнаты, в обречённом, пещерном, тяжёлом, бредовом, предусмотренном, видно, заранее отъединении, отделении,

безоговорочном, не обсуждаемом, нарочито, расчисленным, обмороном отдалении их — от не нужного вовсе им внешнего мира, и от улицы, и от погоды, отрешении их — вообще от всего живого. Они не обратили на меня никакого внимания. Они что-то делали, что-то своё, им понятное, но не мне. Полудвигались, будто включали их в сеть. Полузамирали, будто их отключали. Роботы, что ли? Придатки своих механизмов? Никто из них и головы на меня не поднял. Они полусуществовали. Может, это была виртуальная реальность? Не знаю. Пустота, плоскостная, экранная. Полутени на ней.

К потолку, проскользнув незаметно сюда из-за плохо прикрытой двери, косяком пернатых метнулись не вполне ещё ясные, но, похоже, знакомые призраки. Я внимательней к ним присмотрелся.

Ну так и есть! — конечно же, они здесь оказались: Сальвадор Дали, с растёкшимся в ладони циферблатом; Франц Кафка, с шестерёнкой хризантемы в петлице пиджака; Альфред Хичкок, как фокусник, со стайей птиц безумных за пазухой; Андрей Платонов, грустный, с пером гусиным, с гаечным ключом; и чуть левее, осторонь, — Владимир Набоков, со свечой и книгой «Дар».

Пронеслись по комнате наискось — и за дверь. Может, бродят там, в опустевшем Доме культуры, эти призраки — литературы и кино, да ещё и живописи? Кто захочет — узнает сам.

Посмотрел я тогда — на длиннющую и высокую стену, где раньше в несколько рядов отцовские акварели висели. И увидел — только жалкие остатки некогда полноценной, представительной, постоянной экспозиции. Лишь несколько работ смотрели на меня. Смотрели — я это чувствовал — со стоном, сдерживая рыдания, сдерживая крик. Несколько. И те почему-то выцветшие, в бурых пятнах, — а ведь все окантованы, все под стеклом. На месте остальных — зияния.

Были — щедроты, стали — пустоты. Изредка — гвоздь в стене торчит, на котором раньше работа висела. Да обрывок лески на гвозде болтается. Или — вообще ничего. Пусто. Нет отцовских работ. Растащили. С кого теперь спрашивать?

Махнул я рукой — да и ушёл, огорчённый безмерно, из Дома культуры этого, бывшего — дома, бывшей — культуры. Вырвался — из безвоздушности, из пустоты. Из бездушности вырвался. Из бессердечности. Из безысходности. Из разлуки.

На улице, на площади, перед памятником Богдану Хмельницкому, вздымающему к небу свою булаву, — тем самым памятником, о котором друг молодости Слава Горб лет этак тридцать пять назад написал: «Из времени торча лишь булавой, Хмельницкий схвачен прошлым за сапог», — подышал я

сырым мартовским воздухом. Походил немного. Присмотрел на знакомые с детства места — на дома с явными приметами разрушения, с облупленными стенами, с обнажившейся кирпичной кладкой, на шоссе с выбоинами, в которых под колёсами проезжающих по ним грузовиков хлюпала и обречённо позванивала измельчёнными льдинками стьялая серовато-бурая вода, на обрезанные похмельными садоводческими бригадами, спиленные почти под корень, как-то не по-людски, обрубки бывших кустов и сероватые, просвечивающие пустотой остовы деревьев, тоже — бывших, на такой же, как и почти всё вокруг, состарившийся, обрызганный, захиревший, давно не отремонтированный, заброшенный Дом культуры, когда-то представлявший нам настоящим, сияющим дворцом, — и почуял стелющийся низко над землёй, как дымок, полуветерок-полухолодок запустения, с душком полугари-полупыли, шаткий, валкий, разваливающийся, расползающийся прямо на глазах, как сырая, гнилая верёвка, на отдельные махрящиеся, рвущиеся, трухой осыпающиеся волокна, — и ведь это была весна, уже весна по календарю, но её вроде и не было, полубыла она, полуотсутствовала — или, может, стояла вон там, в стороне, над рекой, у разрушенного, почему-то не ремонтируемого подвесного моста, былого красавца, вход на который был тоже перегорожен, а рядом с ним наведён временный низкий понтонный мост — для сквозящих полутенями в полуреальности бывшего дивным когда-то весеннего мира прохожих, — стояла безмольвно, бесслётно, совсем отрешённо и скорбно, посреди равнодушия общего, но давно отстранясь от него, в преддверии равноденствия, в неизвестности и забвении, сдерживая рыдания, а с ними и горький крик: неужели теперь никому она здесь не нужна? Постоял и я рядом с нею. И — нет, не успокоился. Как успокоиться? Просто — осознал: вот оно, ещё одно свидетельство как бы времени.

Разглядеть бы вблизи хоть раз не разрез, но излом в природе — некий сдвиг, раздвоения вроде, распознать бы, не щуря глаз. На земле зимовать нельзя одному — то в зиянье втянет, ну а то, истомив, отпрянет, не на шутку порой грозя. Не зовёт меня очень вдаль, но сама не спешит куда расставаться — ну вот и чудо, а за ним, на потом, — печаль. Холодам ли к рукам прибрать некий свет, нисходящий свыше? Словно вздох облегченья слышу — и шумит золотая рать.

Мама потом рассказала: в доме бывшей культуры, прямо в бывшей мастерской моего отца, предприимчивые местные новые украинцы открыли магазин подержанных заграничных вещей — секонд-хенд.

Акварелей отцовских — из той — бывшей — постоянной его экспозиции — совсем не осталось.

Ах, отец, отец! Наивный, чистый, светлый человек! Хорошо, что ты всего этого не видишь. Какое было бы тебе узнать о разграблении искренних твоих даров? Неужели остаётся мне утешаться тем, что людям, растащившим, укравшим твои работы, они очень нравятся? А может, отец, всё ты видишь—и всё понимаешь?

Свет в окне—для тебя.

И свеча. И степная полынь.

...Я помню в детстве поездку в степь, за шиповником. Я уверен сейчас, что событие это—а иначе никак и нельзя мне простую, обычную эту поездку назвать, простая она—для кого-то, обычная—для других, для меня же—событие, только событие, именно так,—и стало для меня началом творчества.

Был это самый первый, первейший, всё и решающий сразу, однажды и навсегда, импульс—именно к творчеству, к писательству, к насущной необходимости—порывы души, движения сердца, ощущения удивительной жизни в мире, полном смысла и света, раскрывающемся вокруг меня, вместе со своими истинами, чудесами и тайнами,—выразить в слове. Да, именно в слове. В своём, а не чьём-нибудь, слове. Просветление? Озарение? Да. И то, и другое. Просветление и озарение. Совсем ещё детские, разумеется, наивные состояния. Но—подлинные. Чистейшие. Однажды и навсегда. Истоки. И это—было. Второй, уже более осознанный, импульс, призыв к творчеству, почувствовал я позднее, летом пятьдесят четвёртого года, во время первой своей, вместе с родителями, поездки на Чёрное море, на Кавказ. Третий, уже и не импульс даже, а зов—туда, вперёд, в путь, самостоятельный, творческий, с ощущением призванности, с ясным осознанием всего происходящего со мною, с абсолютной убеждённой в правоте и окончательности своего выбора,—не просто почувствовал я и не просто испытал, а всем существом своим пережил ещё позже, лет через пять после первой своей встречи с морем,—и он-то всё и решил.

А сейчас—о начале творчества. Сколько же лет мне было? Вспоминаю: четыре года. О, тогда я умел уже читать. Научился читать—сам. Начал—с кубиков. Произносил вслух написанные на них буквы. Пытался соединять буквы—в слоги, а слоги—в слова. Мама помогла мне с этим справиться. На то она и была преподавателем русского языка и литературы, лучшим в нашем городе, Учителем—с большой буквы, учителем—от Бога. Я внимательнейшим образом, одержимый своим столь ранним желанием во что бы то ни стало научиться читать, прислушался к ней—и вскоре уже читал книги. В жизни моей появился новый,

прекрасный смысл. Чтение стало—страстью! Чтение стало—счастьем. Уже тогда, в четырёхлетнем возрасте, вроде бы только что, вот-вот научившись читать, я и не думал стоять на месте, а неустанно совершенствовал технику чтения, с озадачивавшим взрослых упорством двигался вперёд и вперёд—и читал запоем. Книги влекли меня к себе неудержимо. Боже мой, я так помню всё это, вот сейчас, на таком чудовищном временном расстоянии от блаженной поры моего книголюбия, так обострённо, нет, сильнее—пронзительно, всем сознанием, зрением, памятью, чувствую это, сызнова, всем востепенувшимся, глухо забывшимся сердцем переживаю те, такие далёкие от меня, из почти полувековой глубины отдаления этого внутренним взглядом воскрешаемые, камертонные в чём-то,—нет, не в чём-то—во всём, безусловно, во всём, настраивавшие тогда мою детскую душу на грядущее, на сплошные труды, события,—для меня, тогдашнего,—огромной важности события,—будто это происходит со мною сейчас, вот сейчас,—ну, может быть, ладно уж, происходило, а не происходит, но тогда уж—только вчера. Довольно скоро я прочитал все имеющиеся в доме детские книжки. Прочитал и по несколько раз перечитал их. Они были не просто знакомы мне, а слишком уж хорошо знакомы. Я их все, до единой, просто знал наизусть. Мне постоянно, ежедневно требовалось новое чтение. Всё новое и новое. Всё новое и новое. Мне открывались, один за другим, целые миры. Всё новые и новые, поразительные, питающие меня, но не насыщающие, а лишь подхлестывающие воображение, поскольку за ещё недавно бывшим новым, но уже открытым был ещё более новый и ещё не открытый, а за ним ещё и ещё, ждущие меня, зовущие меня, необходимейшие для меня, радующиеся моему проникновению в них, моему постижению их сущности радужные миры. И я, лет с пяти, потянулся к более толстым книгам, более интересным для меня по причине внушительного их объёма, а значит, и пространныго текста, самого содержания их, таящего в себе, там, внутри, за ровными рядами довольно-таки однообразных типографских строчек, обильную информацию обо всём на свете и упоительную новизну. Причём я именно потянулся к ним, в буквальном смысле этого слова. Я шёл напрямик к маминому книжному шкафу, довольно высокому и достаточно широкому деревянному сооружению, у которого не было обычных дверей, раскрывающихся от середины в обе стороны створок, а вместо них на каждой из полок имелись этикие вытянутые по ширине шкафа, продольные, стеклянные, заключённые в узкую деревянную рамку, вначале открывающиеся снизу вверх, а потом, когда они принимали горизонтальное положение, задвигавшиеся вовнутрь, для того чтобы открыть, оголить всю полку и получить

возможность выбрать себе нужную книгу, перегородки, или панели, не знаю уж, как их и назвать, потому что из-за такой вот конструкции, из-за её нетрадиционности, нешаблонности, напоминая иногда этот изготовленный на отечественной мебельной фабрике шкаф многоярусную восточную пагоду, и, может быть, это и были даже такие вот своеобразные дверцы, но тогда уж, скорее, присутствовало в них нечто оконное, форточное, ну пусть это будут перегородки, даже загородки, поскольку они ведь загораживали книги, защищали их от пыли, поблёскивая своими периодическими протираемыми влажной тряпкой, отражающими солнечный свет или свет электрической лампы, а заодно и отражающими, словно в тусклом зеркале, всякие предметы находившейся в комнате обстановки, да ещё вдобавок и открывающими взгляду стоящие за ними книги стёклами,—и я, уже приоровившись это делать, привычным движением, снизу вверх, приподнимал эти лёгкие, но упругие, слегка вибрирующие и поскрипывающие от прикосновения к ним, а от нажатия на них, а тем более от приподнимания их рывком вздрагивающие и что-то вроде бы шепчущие или бормочущие перегородки, затем, с усилием, вдвигал их вовнутрь, отчего на поверхности оставался только краешек деревянной рамы, видел перед собою уже доступные книги, нацеливался на них острым, нет, зорким, вполне уже развитым, натренированным, как у охотника, жаждущим добычи взглядом, высматривал там что-нибудь особенно манящее и доставал нужную книгу, но это — на нижних полках или на тех, что были чуть повыше, но я мог до них достать, а вот что касается верхних полок, тут дело обстояло иначе, и к ним-то как раз и приходилось тянуться, дотягиваться,—и, ещё маленький, пыхтя от усердия и упорства в достижении своей цели, становясь на цыпочки, а иногда и придвигая к шкафу стул и неуклюже залезая на выручавший меня не раз и не два этот высокий, шаткий, тоже вибрирующий и поскрипывающий, только словно в другой тональности, почти опасный, но в данном случае необходимый стул, вначале коленками, а потом, осторожно распрямляясь на нём, и обеими ногами,—я тянулся к стоящим на полках таинственными, пока ещё молчаливыми, пока ещё не заговорившими рядами, корешок к корешку, новым для меня книгам. Я доставал какую-нибудь из них, особенно мне приглянувшуюся, будь это массивный, большого формата, солидный с виду, толстый, довоенный ещё, выпущенный к столетию со дня смерти поэта однотомник Пушкина с непрерывно идущими один за другим, в подбор, для экономии места, разнообразными, изумительными, настолько живыми, что, казалось, они в любой миг, непринуждённо, будто так и надо, могут выйти с книжной страницы сюда, ко мне, текстами, стихотворениями, поэмами и прозой, напечатанными

отчётливым, хорошо воспринимаемым глазом, не мелким и не крупным, а как раз таким, как следует, как раз подходящим шрифтом, в две колонки, с иллюстрациями, вместительный, толково составленный однотомник, из которого, вместе с то и дело выглядывающим в мою реальность, страсть как интересующимся, что же здесь, вокруг меня, нынче происходит, да и на меня с любопытством поглядывающим русским гением, неуловимым для кисти, карандаша или резца, каковы бы ни были его изображения, целыми стаями, кличущими, поющими, за собою зовущими, устремлёнными сразу и ввысь, и вдаль, и в глубь времён, в грядущее, вырывался наружу летящий пушкинский почерк,—или подобный ему, но объёмом поменьше, и тоже с картинками, с портретами бравых военных, с эполетами и саблями, с пышными гусарскими усами и безусых, и длинношеих, томных, с оголёнными круглыми плечами, скромниц, но с живыми, лукавыми глазами, с необычными причёсками, гладкими посередине, но с весёлыми кудряшками по бокам, романтических светских дам, с захватывающими дух видами Кавказских гор и сценами кровавых сражений, а также с портретом самого поэта, совершенно одинокого, как и парус в тумане моря голубом, воспетый им, невысокого, несколько отрешённого от той жизни, что бушевала на картинках, странного, сосредоточенного на чём-то внутри себя, грустного человека с огромными, углями пылающими глазами, говорящими о жёре его души, растраченном в пустыне, не меньше, чем стихи его, и поэмы «Демон» и «Мцыри», и прочие, прозаические, с Печориным, одновременно и реальным и фантомным, и драматические, с отзвуками завораживающего маскарада, сочинения, однотомник Лермонтова,—или «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя, настолько близкие мне по духу, по мироощущению, что всё зло сразу же стало родным, или, его же, «Миргород», с потрясавшим меня «Тарасом Бульбой», среди соратников которого так и хотелось мне видеть своих запорожских предков,—или однотомник Некрасова, где «Зелёный Шум», «О Волга, колыбель моя», «Мороз Красный Нос», «Дедушка Мазай и зайцы», и «Коробейники», и «Еду ли ночью по улице тёмной», и «Что ты жадно глядишь на дорожку», и «Кому на Руси жить хорошо», где та Россия, которая жила в нашем украинском доме вместе с бабушкой и мамой и которую, особенно Волгу, да, её—прежде всего, я так надеялся не когда-нибудь, а скоро, совсем скоро увидеть,—или шекспировский «Гамлет» в пастернаковском переводе, с Эльсинором, с тенью отца-короля, с черепом, флейтой, Офелией, с вопросом «Быть или не быть?»,—или катаевский «Белеет парус одинокий», с Одессой, в которую всегда мне так хотелось попасть и где оказался я только в семьдесят четвёртом,—

или просто мамина школьная, с аккуратными пометками на полях и многочисленными узкими, с короткой надписью для памяти на каждой из них, закладками, хрестоматия по русской литературе, — или учебник по русской литературе, — или великолепная, тоже довоенная, тоже большого формата, в сером плотном переплёте, с виньетки, с чудесными репродукциями старых гравюр и титульных листов двухвековой давности изданий, с роскошным Державиным, прямым и вальяжным, в меховой шапке, взирающим на меня с желтоватой страницы, из своего века и своей славы, с победным звуком его од, и поныне звучащим во мне, хрестоматия по русской литературе восемнадцатого века, составленная Гукоским, — или «Казачья» и «Воскресение» Толстого, — не важно, все они были для меня интересны, все они были желанны, все они были тогда хороши, а главное — все новые, — раскрывал я взятую с полки книгу — и тут же, не сходя с места, прямо возле волшебного для меня книжного шкафа, принимался её читать. Потом я спохватывался, отходил от шкафа, но так, чтобы не слишком уж далеко от него удаляться, и здесь же, в самой большой комнате нашего нового дома, которую мы так и называли — большой комнатой, или, иногда, для солидности, что ли, залом, находил для себя местечко, пристраивался или на диване, забравшись на него с ногами, или на стуле, возле окна, и продолжал читать.

Пятидесятый год. Конечно, это был пятидесятый год. Шёл год Тигра, а Тигр, тотем этого года, — аналог моего созвездия, Водолея, — но я тогда ничего ещё не знал обо всём этом, и все мы тогда, не только дети, но и взрослые, об этом, о созвездиях своих и тотемах, о зодиаке, об астрологии, о всяческих, столь распространённых нынче, сведениях, получаемых прямо с небес, ни больше и ни меньше, без особых церемоний, с публикациями астрологических прогнозов в периодике, с гороскопами для любого желающего, и не слыхивали. Я любил разглядывать географический атлас, красочный, довоенный, с картинками, поистине магическими для меня, и на одной из цветных картинок помню изображённого где-то на самом краю земли человека, неизвестно как добравшегося туда, но оказался он именно там, на краешке земли, на кромке, на грани земной, знакомой, оставленной позади, жизни, и, самое поразительное, человек этот, явно любознательный, ищущий новизны, каким-то образом умудрился пробить дыру в небесной тверди и высунуть туда, к неизведанному, свою любопытную голову, и вот он взирал, изумлённый, на то, что открылось ему, и видел близкие и дальние звёзды, и сгустки созвездий, и просторы Вселенной, и другие, неведомые миры. Наверное, в чём-то схож он с теперешним мною, тоже оказавшимся, волею судеб, на краю земли,

в Киммерии, на самой кромке века, уходящего от нас навсегда, на грани тысячелетия, тоже, вместе с веком, уходящего, и тоже навсегда, и не в чём-то, а во многом схож он со мною, изумлённо взирающим, в одиночестве, ночью, на бесчётные звёзды, близкие ли, дальние ли, но все без исключения высокие, и на сгустки созвездий, и на эти ночные просторы Вселенной, и на открытые мне одному неведомые миры. А когда-то, в пятидесятом, время было такое, что звёзд с неба никто не хватал. Но каждый час его был для меня поистине звёздным. Я словно родился тогда заново. Я жил среди сплошных открытий — это ли не прекрасно?! Я просто читал и читал.

Разумеется, и окружающий меня мир — природа прежде всего, смена времён года, состояния природы в течение каждого дня, жизнь в нашем новом доме, быт нашей семьи, наш сад, совсем ещё юный тогда, и двор, и наша длинная широкая улица, и вся наша Гданцевка, с её старыми громадными тополями и шелковицами, с её загадками и тайнами, которые чувствовал я буквально на каждом шагу во время прогулок, представлявших мне увлекательными путешествиями, и река Ингулец, окаймлявшая Гданцевку живым, постоянно струящимся серебряным полукольцом, и неведомая Черногорка, диковатое и глухое с виду урочище на крутой и высокой горе на другом, на чужом берегу, место тёмное, хулиганское, даже бандитское, с дурной известностью, запретная территория, куда категорически запрещалось переходить через реку по узенькому мосту, называемому кладочкой, отдающее жутью, вздыбленное, заслоняющее часть неба, словно изнутри кем-то подталкиваемое вверх пространство, с крутыми, почти отвесными, скалистыми обрывами, с лепившимися плотно и густо, клочками, пятнами, одна над другой, хибарами, будто зависающими в воздухе, с огородами прямо над бездной, с прерывистым собачьим лаем и слаженным пением лягушек, с пресным стойким запахом приречной растительности и речной воды, дотягивающимся и сюда, к нам, а ещё и посадка, так её называли, целый лес, настоящий, дремучий и, понятное дело, запретный, и совсем ведь, совсем рядом, да и многое, многое, всё, совершенно всё — было радостью, и новизной, и сплошной цепью открытий.

Пятидесятый год. Я — у окошка. Я напряжённо вслушиваюсь в мир. Я вглядываюсь в сумрак заоконный — туда, где тополь выпрямился дальний, встречая ночь, как прежде, — в полный рост, вдыхая ветер, с запада идущий. Я вижу крыш соседних черепицу — просветы меж подвижными ветвями, разбухшими от долгого дождя. Я слышу гул — подспудный, монотонный, Земля вздыхает, набок накренившись, уходит влево, вправо подаётся,

назад качнётся—и опять вперёд: ей нет покоя. Что её томит? Что не даёт ей нынче ненадолго утомониться, дух перевести?

Четырёхлетний, очень домашний, общий любимец, пока что—единственный ребёнок в семье, день за днём, взгляд за взглядом, шаг за шагом, входил в этот законный, удивительный мир—я втягивался в него, сживался с ним, свыкался с ним,—и всё равно не переставал он, да и не перестанет никогда, изумлять меня. Время было—послевоенным.

В израненной, усталой, скорбной почве—бесчисленные рваные обломки чудовищного туловища страшной, народом уничтоженной войны: изломанные тусклые обоймы; утратившие вес пропавшей пули, но свист её таящие в себе пустые гильзы прямо под ногами, звенящие, когда отбросишь их, о сизый выступ рудного пласта; снаряды, ожидающие взрыва; затянутые вязким чернозёмом, до времени умолкнувшие мины; немецких ржавых касок погремушки, зазубренные плоские штыки—и что ещё? Там—склад боеприпасов, от грохота которых содрогнётся окраина, заросшая польной: да, это подорвались пацаны... Там—бомба тупорылая, там—финка, там—всё ещё исправный пистолет, там—остовы корявые машин, там—гусениц безжизненные ленты, подобные раздавленным гадюкам, в конвульсиях распластанным в пыли с навеки переломанным хребтом... А между тем журчащая вода уже к реке стремится вдоль дороги—и путь её сквозь отзвуки беды, как бы прочерченный невидимой рукою, на редкость прям. И юная весна действительно приносит избавленье от долгого, жестокого кошмара и новизной пронизывает мир, который всем принадлежит отныне. И мы, в одежде, бабушками сшитой, с сияющими лицами,—мы, дети сороковых,—на улице выходим, идём к ручьям с бурлящею водою, кораблики весёлые пускаем, поскольку знаем: к морю уплывают решительные наши корабли под ветром, прилетающим с востока, сквозь щебет птичий, сквозь весенний день. И я стою с тетрадкой драгоценной, и радостное солнце я рисую, затронутые зеленью деревья, голубизну бездонную небес,—и слово я пытаюсь написать единственное, искреннее слово, вмещающее всё, что вижу я, что слышу я, что сердцем понимаю... А жизнь—она ведь только началась.

Жизнь, однажды начавшись, всё-таки продолжалась. А творчество—начиналось. И начиналось оно—с рисования. И вскоре—о, уже очень скоро!—и в тетрадках моих и на разрозненных, исчёрканных бесчисленными рисунками моими листках—появились и первые мои слова. Слова эти, да и какие-то строки, предложения, были написаны мною, как сейчас хорошо понимаю,

не просто так, не как упрямление, а уже как некий текст, собственный, моего сочинения, и в подобных текстах стремился я к связности, к цельности, старался, в меру детских моих сил и возможностей, выразить чувства и ощущения, не просто переполнявшие меня, а какими-то световыми завихрениями окружавшие меня ежесекундно, и за каракулями этими всегда слышал я совершенно особенный, побуждающий меня к писанию, призывный и властный звук, и различал встающие за каждым словом образы. Нужен был, видимо, какой-то особенно важный толчок, пусть и один, но главнейший, импульс, чтобы я, тогда ещё, в детстве, окончательно осознал себя человеком творческим. Так и случилось. Этим, всё и определившим, импульсом—стала поездка в степь, за шиповником.

Говорили: скоро поедем. Говорили: вот-вот поедем. Говорили—взрослые: папа, мама и бабушка. Я, ребёнок,—этого ждал. И слова воплотились в дело. Обещанье взрослых—сбылось.

Помню: ранняя, тёплая украинская осень. Мама и бабушка собирают меня—в путь. Как в поход собирают. И вот я одет. Я в сшитой бабушкой курточке, свободной, удобной, называемой почему-то толстовкой. На мне сшитые опять-таки бабушкой штанишки до колен, с лямками. Ещё совсем тепло, солнечно—и нет нужды одевать меня именно по-осеннему, понадёжнее, потеплее. С одеждой было тогда негусто. Вся одежда моего детства—домашнего, бабушкиного производства. Самиздатовская одежда—улыбнись я сейчас. Но тогда—она всех выручала. Ещё не только тепло, но даже, можно сказать, жарко. Солнце поднимается всё выше, припекает. Щекой я чувствую его лучи—горячие, всепроникающие, привычные.

Мы, трое, ждём—одного. Мы ждём папу. Ещё утро, ещё довольно рано. И всё же—пора ему появиться, пора. Он—обещал. Мы его ждём с нетерпением, особенно я, маленький. Он должен появиться вскоре—и не просто так, а на коне. Да, не на лошади. Не на какой-нибудь там лошади. Это слишком условно, общо. Нет, папа приедет—на коне. Конь—это да! Это совсем другое. Это вам не просто—лошадь. Конь—это прекрасно. Это по-нашему, по-мужски. Почти по-боевому. По-козацки, уж точно.

Вчера вечером папа сказал:—Мне дают на заводе коня.

Так и выразился: коня! Не какую-то там лошадь. Вчера вечером мама сказала:—Сынок, завтра утром, втроём, мы с папой и ты вместе с нами, мы поедем в степь, за шиповником.

За шиповником! В степь! Ничего себе! Представляете? Каково мне было дожидаться утра?

И дождался. Мы были в сборе. Не хватало—нашего папы. Где же он? Ну когда он приедет за нами? И папа наш—появился. И конечно же—на коне.

Боже, что это был за конь! Жеребец, игрене-
вый, то есть рыжий, со светлой, не белой, а беле-
соватой, дымчатой, туманной гривой и таким
же точно хвостом. Он заржал. Мы услышали с
улицы ржание. Мы, все трое—мама, бабушка и
я,—вышли за калитку. Я—выбежал за калитку
опрометью, а как же—иначе? Я увидел коня. Он,
красавец, фыркал и всхрапывал. Он перебирал
длинными, стройными, точёными ногами. Он пря-
дал крупно вырезанными стрелчатými ушами.
Ноздри его раздувались. Да, он был, несомненно,
красавцем. И всем видом своим он показывал нам,
людям, это. Вот, мол, я каков. Словно одолжение
нам делал—так от себя вёл, так себя перед нами
держал. Ишь, мол, какие! Запрягли, вынудили к
работе. И теперь—вези вас, и никуда уж от этого
не денешься. Да ладно уж, чего там. Повезу куда
скажете. Не привыкать.

Конь стоял и грыз удила. Он запряжён был в
этакую повозку, бедку—так её у нас называли.
Маленькая, лёгкая—и даже, можно сказать, изящ-
ная повозка, двухколёсная, с бортиками по бокам
и одним сиденьем внутри, повозка—на двоих, ну,
в крайнем случае—на троих, если этот третий—
ребёнок, а таковым и был я тогда. Повозочка.
Бедка. Что-то было в ней удалое, задорное, даже
отчаянное. Казачье? Да, наверное. Вспоминаю
кадры из фильма «Кубанские казаки». Да, точно.
И там, в этом фильме, вот на таких повозках и
ездили герои. Бедка. Наверное, для быстрой, лихой
езды. (Что-то было в этой повозке—от боевой ко-
лесницы древних русов,—думаю я сейчас. Кстати,
боевую эту колесницу изобрёл не кто-нибудь там,
а Зердест Спитама, пророк и воин,—называемый
позже, среди других, народов, Заратуштрой. Так
что родина её—Южный Урал. Те края, где недавно
открыт Аркаим.) Конь, норовистый, красивый, с
белой звездой на лбу, запряжённый в чудесную
бедку, должен был нас везти в степь, за шипов-
ником. В степь! Далеко, в степь!

В бедке сидел папа. В руках у него были вожжи
и кнут. Он улыбался. Он радовался, я это видел.
Он звал нас с мамой:

—Залезайте! Скоро поедем!

Вспоминаю—словно прищуриваюсь и вглядыва-
юсь—туда, в свою память, в далёкую даль, в дет-
ство. И вижу, отчётливо вижу: на улице, напротив
нашего дома,—игрневый конь в сентябре. Конь—
солнечный, как и утро. Конь—солнечный свет. Он
косился на меня жарким своим глазом. Иногда он
мотал головой, словно приглашая меня—ехать.
Ехать в степь, за шиповником.

Как его звали, этого игрневого, солнечного
коня,—не припомню. А хорошо бы вспомнить
сейчас его имя. Имя солнечного коня. Первого—в
моей жизни. Того, кто должен был, кто готов был
всех нас, всех троих, папу с мамой и меня, вскоре
везти—и не куда-нибудь там, а в степь.

Ещё немного, совсем немножко, немножечко
пождать, потерпеть—и начнутся чудеса, я это
чувствовал. Можно сказать, они уже начинались.
Нет, они уже начались.

Папа легко спрыгнул на землю. Я бросился к
нему навстречу, прижался к нему. Мне так хоте-
лось—ехать!

Папа сказал:
—Скоро поедем, сынок!

Взрослые о чём-то говорили меж собою. Но я
уже почти ничего не слышал. Да и просто—не
слушал. И слышал—всхрапывание игрневого
коня, и видел перед собою—жаркий его глаз и
всё его литое из золота, сильное, мускулистое
тело, бывшее, конечно же, конским телом, телом
животного, с шелковистой короткой шерстью
по всему туловищу, со вздувшимися под кожей
крупными пульсирующими венами, но уже пред-
ставлявшимся мне в беге, даже в полёте, каким-то
птичьим телом, соколиным, орлиным, снабжён-
ным даже оперением, то есть свободным, широ-
ким крылом гривы, и завитком растрёпанной
чёлки, и прямо-таки ручьём, а может, и водопадом,
струящимся, стекающим низко, почти до земли,
белёсым, туманным хвостом. Конь, одно слово.
Настоящий конь. Пора, пора было ехать.

Мама залезла в бедку. Папа подхватил меня
сильными своими руками—и одним движением,
в котором успел уловить я предвестие полёта,
переместил меня с земли—туда, к маме. Бабушка
стояла рядом с бедкой. Она протягивала маме
свёрнутые грубые, колкие мешки. Мама взяла их
и положила внизу, в ногах. Папа, опять одним
лёгким движением, вскочил в бедку и уселся на
сиденье, на твёрдой скамеечке с твёрдой же, но не
прямой, а чуть наискось сдвинутой спинкой. Он
сидел слева. Мама сидела справа. Я сидел в центре,
между папой и мамой. Бабушка, провожавшая
нас, что-то говорила маме. Мама что-то отвечала
ей. Я не слышал их слов. Я весь был в ожидании
дороги. В ожидании—пути. А может, и полёта.
Кто знает? Ну, вот и пора! Теперь уж точно—пора.

Папа натянул вожжи. По-особенному как-то,
непривычно, чмокнул губами, языком. Цокнул,
может? Дал коню—знак. Приказал ему: трогай!
В папиных руках были вожжи и кнут. Папа стро-
нул коня с места. Игрневый конь фыркнул—и не
шагнул, а ринулся вперёд. Бедка плавно, вначале
медленно, а потом всё быстрее и быстрее, пока-
тилась по нашей заросшей большими деревьями
улице к повороту. Вот оно! Мы уже ехали. Дви-
гались. Мы ехали не просто так, не просто пока-
таться, не на прогулку. Нет, у нас была—цель. Мы
ехали по делу. Мы ехали в степь, за шиповником.
У поворота я не выдержал—и оглянулся.

Бабушка стояла у калитки—и махала вслед
нам рукой. Небольшая, ладная фигурка её—там,
у калитки,—навсегда врезалась в память. Через

какое-то не столь уж долгое время, лет через десять—двадцать, когда я подрасту и начну уходить вечерами гулять,—бабушка будет стоять у калитки и ждать меня—даже если я буду задерживаться и приходиться поздно, совсем поздно, почти ночью. В темноте, в тишине, молчаливо, привычно,—она будет стоять—и ждать. Образ терпения и ожидания—сквозь жизнь её, бабушкину, тяжёлую жизнь, сложную,—и мою жизнь, тогда только начинавшуюся, но потом, позже, оказавшуюся тоже непростой,—высветлился навсегда, вышел из прошлого, слился с её, бабушкиным, обликом, с певучей поволжской речью её, с глазами её, с естественным её, с миром её и со всем тем, почти не объяснимым словами, что значила она для меня, и значит, и впредь будет значить,—образ этот вошёл в мою душу—и остался в ней навсегда.

Итак, мы ехали. Мы ехали втроём. Ехали в самой настоящей степной, удалой, подвижной, удобной, весело подпрыгивающей на ухабах бедке.

Папа держался молодцом. Сказывалась его степная, украинская порода. Запорожская, козачья. Будто всю жизнь он ездил вот в таких бедках. И не только в них. Но и верхом. На лихих, горячих конях. Я представлял его—всадником. Да и как не представить? Высокий, стройный, поджарый. Подтянутый, прямо держащий спину. Затянутый офицерским широким ремнём, в гимнастёрке, в брюках галифе, в хорошо начищенных сапогах. Ещё недавно—офицер. Горбоносый, смуглый, чернобровый. Темноволосый, кудрявый. Молодой—всё ещё впереди!

Мама им любовалась. Мама, тоже молодая, ещё моложе папы, прекрасная в своей врождённой, родовой, отнюдь не вызывающей, но всеохватной какой-то, удивительно сильной, внутренне сильной, доброй, умной, светлейшей своей красоте, с открытым чистым лицом, с голубыми сияющими глазами, с затянутыми в тугую и тяжёлый узел тёмно-русскими волнистыми волосами—целым проливнем этих пахучих, густых, до колен достающих волос, когда она их расчёсывала дома, бывало,—в косынке, в скромной юбке и скромной кофточке, моя дорогая, родная мама,—улыбалась, вся залитая, даже словно увенчанная золотым тёплым солнечным светом.

Папа лихо правил игреневым конём. И конь, как я видел и в чём всё более убеждался, с удовольствием даже, во всяком случае, охотно, как знающего толк и в лошадях, и в езде на них, верховой ли, в повозке ли, опытного и уверенного в себе человека, слушался его.

Папа и мне давал подержать вожжи. Помню это ощущение: я держу в своих маленьких руках, в плотно сжатых кулачках, две прочные упругие ленты—и оттого, что я держу их, волшебным образом по обе стороны от нас, веерами, наискось ложащимися крыльями, полосами и пятнами,

световыми вспышками и сквозными, обдающими ветерком проёмами далей, разворачивается просторство,—и мы углубляемся в него, мы проникаем в него всё дальше, мы уже почти освоились в нём—да, мы движемся в нём, а может быть—и летим, и нам хорошо в нём, привольно, спокойно,—и состояние это, песенное какое-то, творческое, это уж точно,—я и сейчас готов сызнова испытать.

Мы проехали по нашей улице, а потом свернули с неё на другую улицу, перпендикулярную нашей, а потом ещё раз повернули направо, а потом и налево—и ехали уже по шоссе, к западу. Солнце стояло на юге. Оно было слева—и краешком глаза я всё время улавливал свет его, блеск его, всё ещё жгучий, всё ещё заставляющий шуриться. С нашей Гданцевки, из приречной низины, мы поднимались вверх по шоссе, всё выше, всё выше. И не то чтобы крут был подъём, но шоссе уходило вперёд и вверх, а знакомые улицы оставались сзади, внизу, вначале—не слишком заметно, а потом—далеко внизу, там, за нашими спинами, за облачком пыли, поднятой конскими копытами и колёсами бедки. Мы поднялись вверх по шоссе—и вдруг повернули к югу. Повернули—к солнцу, к свету его.

Мы выехали в степь. Она раскрылась перед нами, как книга. Она открывалась передо мною впервые, во всей высоте своей, потому что была холмистой, и холмы эти были действительно высоки, и во всей широте своей, которой предела не было, и во всей глубине своей, которая там, вдалеке, всеми нами угадывалась, и во всей красоте своей, присутствие которой здесь, рядом с нами, вокруг нас, везде, совершенно везде,—вдруг я сразу почувял. Она распахивалась перед глазами—и город оставался внизу, совсем, совсем далеко.

Вокруг была только степь—и это был мир, целый мир, совершенно новый, явленный только что, мир, встречающий нас. И хотя для меня это было впервые—это был мир, почему-то странно узнаваемый, близкий мне, родной, узнаваемый—хребтом, сердцем, душой, струением крови. Просто—было всё это в крови. Родовое, степное, наследное, кровное. Непрерывное. Передаваемое по наследству. Живущее в генах, в прапамяти. Вечное—как и сама степь.

Местность, холмистая, напоминающая даже горную, до того высоки были некоторые холмы, была изрезана балками, иногда глубокими, как ущелья, со склонами, порою отвесными, порою более покатыми, с густыми синими, лиловыми теньями, со складками почвы, похожими на грубые морщины, с выступающими на поверхность красновато-сизыми скалами, подёрнутыми седыми волокнами полыни, с травами, бесчисленными, на удивление многообразными, и не думающими увядать, а наоборот, кое-где ещё цветущими, пахнущими свежо и терпко, с привкусом горечи, привкусом сладости, медовости, со смутным запахом

винного, ягодного брожения, с присутствием во всех этих запахах — солнца, солнечного цвета и солнечного света, прежде всего, во всех степных растениях.

И я помню их — заросли, колючие, очень колючие, плотные, цепкие заросли, целые растительные массивы, живые, живучие, растущие на приволье, под степным солнцем, на чистом, свежем степном воздухе, лесоподобные образования, джунгли, бесконечные, беспредельные, звенящие под солнцем своими спелыми красными ягодами, словно колокольцами или серьгами, уходящие в глубину степи неровными, тяжёлыми, издающими явственно различаемые звон звеньями длиннющей живой цепи, — заросли шиповника на склонах уходящих в неизведанную глубину балок и уводящих в заповедную крутизну холмов.

Неужели стоял сентябрь? Да, конечно, конечно, сентябрь! Солнце ярко светило в синем, громадном, выпуклом небе, золотистое, золотое, ещё тёплое, очень тёплое, жаркое, щедрое, доброе, сильное, родное, степное. И червонным золотом отливали на солнышке ягоды шиповника, целые россыпи, и не просто россыпи, а собранные здесь в несметном количестве, только нас и ожидавшие — и вот уже дождавшиеся, готовые обрушиться на нас, хлынуть на нас, потому что это — для нас, фантастические дары, сказочные богатства.

Папа остановил коня — где-то далеко, совсем далеко в степи. Мы вылезли из бедки на землю. Игреновый наш конь остался ждать нас. Он принялся пощипывать влажными губами траву, изредка пофыркивая и отгоняя взмахами своего длинного туманно-белёсого хвоста назойливых мух. Конь — отдыхал. Он довёз нас до места — и теперь отдыхал. Ну а мы — оказались в степи. Наедине со степью.

Папа с мамой, не откладывая дела, принялись собирать шиповник. Великое множество кустов шиповника было вокруг. И все они были от земли до вершины усыпаны оранжевыми, красными спелыми ягодами. Я тоже попробовал собирать их. Ягоды были мясисты, на вкус непривычны, но приятны. Некоторые из них были посуше, потвёрже, поменьше. А иные были крупны. Продолговатые в основном, но иногда и кругленькие, гладкие в основном, но иногда и усеянные крохотными колючками, этаким шероховатостью, как напильник или наждачная бумага, но больше всё-таки гладкие, чистые, поблёскивающие кожурой своей, точно умытые, поражали они, прежде всего, своим изобилием, избытком. Но их надо было — рвать. А кусты были — с шипами.

Папа с мамой надели было брезентовые рукавицы. Но в них собирать ягоды было неудобно. Тогда папа с мамой сняли эти рукавицы — и стали собирать ягоды просто голыми руками. Ну, колко. И даже больно. А что поделаешь? Надо. Шиповник нужен был — для здоровья. Его прописали пить

врачи. Кому прописали? Маме? Папе? Не помню, да это и не важно. Важно — что для здоровья. А оно нужно было и маме, и папе, нужно было — всем нам. Это я хорошо понимал.

Папа и мама трудились. Они терпеливо и методично, постоянно натываясь на острейшие шипы, царапая руки, изранив их, но стойчески это переноса, собирали ягоды, висящие на ветках гроздочками, кистями. Собранные ягоды они складывали вначале во что-то, что было у них в руках, а потом, по частям, пересыпали в мешок. И количество пересыпанных в мешок ягод всё прибавлялось. Мешок толстел, разбухал.

Колючие кусты, усыпанные спелыми ягодами шиповника. Мама с папой, оба молодые. Папа — прямо казак лихой, с загорелым лицом, с чёрным кудрявым чубом. И мама — просто красавица, степная красавица, вся счастливая, светящаяся красотой, любовью и молодостью. И я с ними вместе — маленький, четырёхлетний, но зато уже всю читающий, книголюб и мечтатель, ещё, наверное, светлоголовый, с чубчиком, — это потом уже, позже, волосы у меня потемнели, а потом и поседели, — а тогда я стоял в степи, хоть и маленький, но для своего возраста рослый, широкоплечий, скуластый, с веснушками, — это я там стоял, в степи, и это мы там были, в степи, все трое.

Как сказал Хлебников: «Это было. Это верно до точки». И я стоял в степи, я ходил по степи, я вслушивался в неё и всматривался в неё, — и понимал, что она — живая.

Степь — звучала. Она не молчала. А зачем ей было молчать? Она звучала своей музыкой, своей собственной, такой музыкой, которую принял я в сердце и в душу свою мгновенно, которую впитал в себя раз и навсегда. И в ней, в этой музыке, было и время, по которому мне предстоит ещё научиться свободно передвигаться в дальнейшем, в будущем, научиться путешествовать, по своему желанию, в любую его пору, потому что время земное моё — это память моя, — и было в этой музыке пространство, по которому тоже предстояло мне в грядущем передвигаться, оказываясь иногда незнамо где, — и была ещё в этой музыке — почва, та, на которой стоял я тогда, в детстве, та, которую вдруг ощутил как основу, а потом, уже позже, осознал всё значение её, всё величие, и родство её, и таинство, и естество.

Что-то случилось тогда со мною особенное. Что-то вдруг почувствовал я, что-то услышал — зов ли, голос ли? И мне, до слёз, до плача, захотелось — хоть когда-нибудь, тогда, когда я вырасту, — но выразить, обязательно выразить — всё, что вошло в меня здесь, всё, что пришло ко мне само, всё, что вышло ко мне — вот из этого дня, вот из этого солнца, вот из этого света над осенней землёй.

И вся огромная степь дышала, звучала, пела — птицами, летящими в небе, собирающимися

в стайки, вспархивающими поодиночке, сидящими в кустах шиповника и на земле, в траве, кричащими, гугукающими горлицами, и скиглящими, ячащими степными чайками, и воробьями, чирикающими совсем рядом со мной, и синицами, тенькающими поодаль, и другими, ещё не известными мне тогда птицами, голоса которых я слышал, и кузнечиками, пиликающими и стрекочущими прямо у меня под ногами, скачущими со стебелька на цветок, с цветка на камешек, и травами, этим шелестом, шуршанием трав под налетающим временами ветром, хрустом, потрекиванием, шелушением, шевелением, поскрипыванием вокруг, и воздушным шелестом листьев на кустах диких маслин, и раскачиванием ветвей, и песчаным рассыпчатым шорохом, и земельным, подспудным, почвенным, всюю грудью, широким вздохом, и напевами тёплого ветра, и звоном ягод шиповника,— всем вокруг, всюю музыкой круга земного.

А потом шиповник был собран— и мы поехали обратно, домой.

Игрeneвый конь со звездой на лбу, нетерпеливо перебирая ногами, бежал по степной дороге. И вдруг конь понёс! Испугало ли что его, или другая была причина, уж не знаю,— но он словно с цепи сорвался. Он мчался всё быстрее, вскинув голову, храпя, грудью рассекая воздух,— мчался, свернув с дороги, прямо по траве, куда-то вперёд. Мама испугалась, вскрикнула. Папа, подбадривая её, но весь напряжённый, старался справиться с ошалевшим конём. А того— действительно несло. Ему словно надоело повиноваться. Он был весь— в беге, в движении. Нашу бедку трясло, высоко подбрасывало, раскачивало во все стороны— и она, похоже, уже оправдывала своё название. Конь вырвался на вершину холма, на самый его гребень. Он буквально взлетел туда— и действительно было в нём что-то птичье, соколиное ли, орлиное. Он взлетел высоко на вершину— и разом остановился.

Папа сумел его удержать! Папа вновь подчинил его себе. Мы, все трое, посмотрели вниз. Глубоко под нами, начинаясь прямо от крутого каменистого склона, открывалась настоящая прорва, бездна— громадная, изъеденная трещинами, усыпанная выступами рудных пород, невероятная по своей вместимости, по своей отверстости, степная, дичайшая, заросшая кустарниками, глухотоманная, подземной какой-то жутью веющая, холодная, безмолвная балка.

Почему-то мы— все трое— совершенно не испугались. Я прекрасно помню: не было страха! Интерес, любопытство— ишь, мол, какая прорва, батюшки!— были. Оживление, возбуждение— были. А страха— не было.

Зато была— радость: целы, и слава Богу. Зато была— мамина гордость: молодец, папа наш, справился с новистым конём. Зато была— папина

уверенность в себе: ну чего там, пустяки, бывает, и не такое бывало, всё в порядке, все живы.

И наш игрeneвый конь— преобразился. Ему вроде стыдно стало за своё поведение. Он повернул к нам голову. Он покачал головой, сверкнув белой звездой на лбу: простите меня— разгулялся, погорячился, но вот опомнился вовремя, больше не буду. И мы охотно простили его.

И мы, с грузом шиповника, поехали домой. Мы пели песни по дороге, пели— все трое. Нам было радостно: всё обошлось, все живы, все целы. Нам было хорошо втроём: ведь были мы в степи— все вместе. Нам было весело: мы пели и смеялись. И мы приехали домой.

Так что же это было? Постигание. Начало постижения. Открывшаяся мне музыка степи. И— в ней же, рядом,— предупреждение о бездне. Спасение. Чудо. И— свет в природе и в душе. И зов, и звук, и путь. И дом для песен. Родная почва. Степь. Дарованная жизнь.

Это был мой первый выезд на природу, в степь, которая взрастила всех нас— и мамин род, и папин род,— всех, всех,— ибо ископок веков называлась она Русской Степью— и простиралась от Дуная, и по Причерноморью, и по Приднепровью, и за Дон, и за Волгу, за Каспий, и дальше... Родители мои были в степи— дома. И я был в степи— у себя дома. С этих пор, с этой нашей поездки за шиповником, я навсегда— уже осознанно, ясно, светло— полюбил степь.

Дыханьем родины мне степь моя верна— милее лепета и заповеди строже, она дарована, смиреннее растревожа, и нежит жалостью, где дверь отворена, погудкой вспархивает, шороху родня, звенит над запахами, длительное эха,— и в будущем ты Ангел и утеха, но прожитое ближе для меня. Мелодии священные ключи найдём ли мы к окрестности звучащей?— и в этой беззащитности щемящей не высветлить пред вечером свечи. Не выстоять пред облаком реке— и кровью, пробегающей по жилам, в печали по курганам да могилам она воспламенится вдалеке. Где столько навидался на веку, всё чаще око тянется к пернатым, привязанным к отеческим пенатам, и хатам с огоньками к огоньку. А степи не гадают по руке— и мгла полынная со временем роднится, распаивая нотные страницы, и смотрит маревом— и, вся накоротке, слетает заговором в музыку старинной, почти что тайной, где явь твоя— извне, и в жизни, брошенной былинкой в стороне, во притче памяти былинной. И негде выговорить: милая! с луною ужель найдём прибежище меж нив, чтоб, головы повинные склонив, нездешней наддышаться тишиною, иной совсем?— на то она и есть, чтоб выговору вечности остаться и слову прозорливому раздаться— в нём боль и честь. И травы горькие мне кажутся добрей,

и странник их, как веру, обретает — и мнится: нет уже ни снега, ни дождей — а птицы певчие совсем не улетают.

Я стал вспоминать — и в голове начали оживать картины детства, одна за другой, да так, будто это сейчас происходит, — столь силен этот особенный эффект присутствия. Наверное, в мозгу нашем самое дорогое таится до поры до времени, — но вот затронь некую струну — и потянулась нить, одна деталь за другой выплывают, возникают просто из ничего, звучат голоса, эти непрерывные видения сменяют друг друга, — и всё движется, дышит, — и растёт, разрастается эта музыка прошлого, этот свет — из души, из памяти, из родного, земного, кровного, из сердечной глубины, из чаяний, веры чистой, светлой любви...

Сказал ведь Григорий Саввич Сковорода: «Все походить из безодни глубокого сердца».

«Ой, коли б той вечір...»

Дерево.

Польнь горячая, клонящийся ковыль. Степная кровь! Ты значишь слишком много. Ты в земли эти впитывалась долго — то каплями, то щедрыми ручьями, то реками, то буйным половодьем, — не потому ль так мягок чернозём, так плодоносен?.. Дерево встаёт в багровом обрамлении заката, корнями вглубь уходит, ввысь — вершиной, подьмет ствол, надёжно защищённый пахучею смолистою корою, раскидывает крону широко, шумит листвою, осенью — карминной, соседствующей с южной бирюзой, прозрачною, как жилка горизонта, с прослойкою лазури на востоке, пульсирующей в дымке лиловой, как сонная артерия Природы, с мерцающим сапфировым на юге, с жемчужным вздохом севера вдаль; пунцовую, как щёки на ветру, пурпурную, как женские уста, иль алою, с оранжевым оттенком, как детские замёрзшие ладошки, коралловой, как старые мониста, рубиновой, как доброе вино; то огненной, роднящейся с кострами, то рдяною, как первый поцелуй, то льющейся воздушным кумачом, то плещущей персидским кармазином, то сыплющейся золотом червонным, то стутками запёкшимися лета ржавеющей на выгнутых ветвях. Всех это — кровь. Всё это красной нитью прошло сквозь лабиринт существованья, по глине, по камням и по песку, и вырвалось на волю, пламенея, в дыму осеннем, в замкнутом кругу вокруг оси — торжественного древа, под куполом распахнутого неба, не улетая в Ирий, словно птицы, но падая на землю, становясь огнём подземным, жилами руды, извечной почвой, древнею опорой, земною твердью, соками растений в закатный час, у века на краю.

Звенит чуть слышно медная струна, желтеет опаль — родинки, веснушки. Подобно лебедю, склоняет шею конь, небрежно машет огненную гривой и воду пьёт. В серебряной воде, как в зеркале, он видит отраженье — такого же усталого коня, с ушами чуткими, с огромными зрачками. Вода темнеет. Конь идёт к холмам. Глядят с курганов каменные бабы на сёла, на уютные жилища, на россыпи прищуренных огней, мелькнёт сквозь стебли чащи камышовой трепещущий змеиный язычок, поднимет рыба тлеющий плавник, в золе проснётся жаркий уголёк. Немало звёзд на клёнах загорелось — и если к ним сегодня прикоснуться, не обожгут — притянет, как магнит, струящаяся древо крови нашей и даст им жизнь — в словах, воспоминаньях, и это — продолженье бытия.

О дерево, о тополь на закате, высокий чёлн, свеца преображенья, знаток неуловимых изменений в подлунном мире, сивоусый лирник, морщинистый хребет несущий прямо, который соль звезды и кровь зари соединили с космосом, хранимым в твоём сознанье! Дерево благое, душа поющая, дыхание округи, иглою шивающее жуткие прорехи меж вымыслом и явью! Прямо в песню несущее доверчивое сердце, а песню эту — к людям, прямо в жизнь!

Фонарики шиповника. Спорыш. Вкрапления цикория. Ромашки. Тысячелистник, белый свой венец с достоинством несущий. Подорожник, врачующий бесчисленные раны идущей по-над берегом тропы. Стручки акаций — серьги полнолуныя. Дремотный вяз. У моста череда. И узкий мост. И берега громада. И скалы с фиолетовым отливом. И плещущая холодом река. И все сады. И степь — хрустящий свиток, развёрнутый у ночи на коленях. И свет в окне. И тополь за окном.

А потом, через много лет, в семьдесят восьмом году, этот сентябрь пятидесятого, и детство, и этот игрневый конь, и наша поездка в степь, за шиповником, и сама наша степь — вдруг вернулись, вспомнились, вновь пришли ко мне, уже несколько трансформированные в сознании, в памяти, в опыте прожитых мною лет, но главное, самое важное — осталось: этот солнечный свет в сентябре, эти сдвиги во времени, ощущение степного пространства, этот дух наших древних степей. И я, всё там же, на родине, живя и работая в родительском доме, писал о родном, был там — на холмах в сентябре.

Ты врождённой красоты дороже, исчезающая заря, там, где в упряжи скачет всё же конь игрневый сентября. Что холмы? — кто-то сбил со счёта! — скалам некого приласкать — и стоят, словно ждут кого-то, кто сумел бы их отыскать. Мы с тобой забрели, однако, на ступень высоты степной — и рыжее руды собака смотрит с нами на край родной. Город весь в тополях и кровлях, точно стойбище

небылиц, где от скифской удачи в ловлях желтизна, словно след лисиц. Под ногами река петляет, белым чайкам кузнечик рад,—и никто, как на грех, не знает, что нельзя посмотреть назад. Там ночами не спят маслины, чтобы твой не тревожить взор, для которого всё едино в этой жизни с недавних пор. К ветви каждой и птице каждой ты внимательна, как дитя,—кто тебя наделяет жаждой?—кто учил тебя, не шутя? Кто тебя одарил вниманьем и меня не забыл сейчас?—и страданий людских признание просветляется этот час.

«Ты», «тебя»—это обращения к моей жене Людмиле, которая открывала тогда для себя мою родину во время наших с нею дальних прогулок по осенним окрестностям—тогда, в незабвенном семьдесят восьмом году,—но и к родине моей обращение.

Связность, между прочим, всегда есть—в том, что вспоминает человек. Он вспоминает—под настроение, в зависимости от состояния своего. От состояния души, прежде всего. Ничего не изымешь из памяти, как ни старайся порой что-то забыть сознательно, специально. Всё остаётся в мозгу, всё там, внутри нас, хранится—до какого-то времени, непредсказуемого, всегда неожиданного, когда вдруг, по вспышке,—вспоминается, возникает перед тобою. Связность—это целостность впечатлений. Это оставшиеся в памяти точные ощущения, сохранённые там состояния—те, давнишние. И всё, как ни крути, как ни отбрыкивайся от чего-нибудь, дорого, всё близко сердцу. Фрагментарность воспоминаний—кажущаяся фрагментарность. Как и фрагментарность прозы, которая тоже есть цепь воспоминаний о том, что знаешь сам, без выдумки, без придумок, без всяческой беллетристики, порождения чьих-то затуманенных неизвестно чем и сбитых с панталыку мозгов. Жизнь человека есть сплошное воспоминание. Каждый миг бытия—фрагмент этого бытия. Только что был он, только что пережит—и вот уже он в прошлом. Пока я пишу эту строку, миг за мигом уходят. Но не навсегда. Они остаются—во мне. И когда-нибудь, очень возможно, какой-нибудь из них, всё так же, по вспышке, в озарении, сам придёт ко мне, сам вернётся, вспомнится—в полной сохранности своей, в целостности, и свет его будет таким же, как и прежде,—только, может быть, опыт и время выберут несколько иной угол зрения на него, и этот угол зрения—внутреннего, наиточнейшего—будет самым верным.

«Огонь горит, пылает...»

Имена.

...Один мой дед с Чапаевым погиб во время переправы через реку—отчаянной, поспешной,

безоглядной и ставшей для обоих роковой. Ну кем они друг другу приходились—при жизни? После смерти же их кровь насквозь речную воду пронизала, влилась в легенды, память обогрила,—такие узы трудно разорвать. Не подвела их дружба боевая, не прервалась их родственная связь—и в этот миг. И две души рванулись в ночное небо, к звёздам—в те миры, куда они заглядывали оба в любимых песнях... Дед мой уходил в густую влагу, к берегу иному, в немую глубь холодного тумана, в руке сжимая ивовую ветвь. В ту пору он всего двадцать четыре коротких года прожил на земле. Он уходил—и уносил с собою жены прекрасный образ, взгляд дочерний, плач сына, все излучины Иргиза, Поволжье, степи, лодку на стремнине, своих грядущих внуков голоса... Войны гражданской с плеч нам не стряхнуть, не вырвать с корнем скорбную полынь. Вспомянем Железнова Михаила!..

Другой мой дед немало испытал за те года, что жил на белом свете. Отнюдь не избалованный судьбой, счастливым был Алейников Григорий. Он смотрит с фотографии—и вот лицо его меняется. В глазах проходят тени. Отсветы пожара лежат на скулах. Кажется, дыханье прерывистое слышу. Это он самой Природой столь был одарён, умелец, мастер, труженик, мечтатель. Его сады цветут над Ингульцом, его слова становятся делами. Невидимые времени колёса вращаются—уже не удержать. Германская, гражданская... Недаром хотел он край степной преобразить, догадками делился он с людьми, пришедший в мир разумного труда с любовью к Украине. Это он сумел так много сыну дать, что тот любовь его, надежды, свет душевный в своих картинах воскресил... Отец—из той породы славной украинцев, что несколько столетий закалялась в горнилах битв. Он сед. Он фронтовик. Он жив—и вспоминать войну не любит, хоть вытравить её нельзя никак из сердца. Он стоит в своём саду, встречая солнце. Птицы распевают. Кружатся, осыпаясь, лепестки. Деревья кроны к небу поднимают. Я подхожу и говорю:—Отец, какое утро нынче на земле!—Он откликается:—Какое утро, сын! Как выразить вот эту красоту? Попробую!..—и щурится невольно. —Владимир! Дмитрий!—слышим. Это—мама...

Родители мои. Понятье: род. В нём—дух и свет. И—путь среди земных щедрот. И—дом, с которым связь не прервалась. И—та любовь, что с песней родилась.

Буддийские монахи, воспитывая детей, учили их испытывать на протяжении всей жизни чувство самого глубокого почтения к родителям. Ибо, как говорят буддийские книги: «Если бы сын взял мать свою на одно плечо, а отца на другое и нёс бы их в течение ста лет, то и тогда он сделал бы для них меньше, чем они для него».

Восточная мудрость? Жизненный опыт? Непрерывность любви, и надежды, и веры. Продолжение— в мире— и заветов кровных, и речи. Понимание— сути, основ. Правда бытия.

Широких крыл прикосновение, высоких сил благословенье, проникновение туда, где есть участие и внимание к душе— и все переживания на берег выплеснет вода. Невыразимое, земное, всегда идущее за мною, куда б меня ни завела стезя кремнистая, крутая, чтоб доля, некогда простая, в движенье сложность обрела. Полуотдушина и полупечаль— и вновь, похоже, в школу брести, усваивая путь к чему-то важному, где мало усердия,— помнится, бывало, позёмка скрадывала суть. И так— в начале было слово, к чему-то новому готово, оно готовилось обрести ещё неслышанное право на весть из космоса— и славу, где вздохов горестных не счесть.

Когда, казалось бы, пора и возвестить о неминуемом наследстве в юдоли сущего,— и всё-таки грустить— смотрю и радуюсь, как в детстве, цветущей невидали— то-то навещать места, где в щедром первородстве я рос,— даст Бог понять меня им и простить!— всё тянет в нынешнем сиротстве.

Степь родная— с детства со мной.

Я об этом уже рассказал.

Въявь увидел рай свой земной.

Нити брезжущие связал.

...Но вернусь к музыке.

Я думаю сейчас, что желание, обоюдное родительское,— и материнское, с незабываемой верой в мои таланты, и особенно отцовское,— да, особенно его, отцовское,— было желанием, чтобы сын учился музыке по-настоящему, всерьёз, профессионально,— потому что ему, отцу, при его куда более сильных и широких способностях и талантах, нежели мои, хотя и у меня есть немало таковых, о чём говорю без смущения, поскольку многие и так об этом давно знают,— потому что ему, отцу моему, не представилась, в его детстве, такая вот счастливая возможность— учиться музыке по всем правилам, учиться— как полагается, и он так и остался в музыке самоучкой, любителем, пусть и действительно очень хорошим музыкантом,— и он, мой отец, таким образом, воплощал в жизнь свои детские мечты, свои чаяния,— давая возможность мне, своему способному сыну, учиться музыке.

Отец выбрал инструмент— именно такой, какой, по его мнению, был наиболее подходящим, наиболее хорошим из всех, имевшихся в магазине. Знаю, что руководило им— чутьё.

Пианино привезли на грузовике. Мы, находившиеся в доме и ждавшие, когда же, наконец, его привезут, мы, все четверо— мама, бабушка, я и мой младший брат Валера,— одновременно услышали

близкий, урчащий, громкий звук работающего мотора. И вот звук этот, вместе с хриплым кашлем и мокрым каким-то, недовольным чем-то, механическим ропотом, ещё разок проявился, прорезался рядом, за окном, за стеной, сердито чихнул напоследок и заглох. Мы вышли на улицу— встречать отца, встречать музыку. Напротив нашего двора, на дороге, по которой ещё тянулись, медленно оседая, слои поднятой колёсами пыли, стоял грузовик. Он был выкрашен тёмно-зелёной краской, весь был зелёным, как кузнечик, или древесный лист, или трава у двора, и только толстые, надутые, будто чем-то обиженные, шины на колёсах были серо-сизыми от пыли, уже довольно изношенные, немало потрудившиеся, лысые, почти утратившие свою ребристость и пружинную гибкость новой резины, да ещё номерной знак еле различался сквозь густую пелену дорожной пыли на нём, напоминая принесённый ветром и прилепленный наобум трамвайный билетик или же ещё какую-нибудь случайную бумажку с цифрами, вроде квитанции. Отца мы увидели в окне кабины. Он сидел в кабине, рядом с шофёром. Он показывал шофёру дорогу к нашему дому. И вот они прибыли на место. Увидев нас, отец помахал нам рукой. А в кузове, деревянном, длинном, открытым, рядом с пианино, спрятанным, упакованным во что-то вроде ящика, сколоченное из дощечек, во что-то вроде наскоро сварганенного футляра, сидели двое грузчиков, коренастых, краснолицых, в маленьких сплюснутых кепках с пуговками, с тогдашним шиком, лихо, набекрень сидевших, несколько по-птичьи, на их круглых, стриженных «под бокс», литых, чугунно-медных головах, и из-под надвинутых на их загорелые лбы козырьков косыми клиньями выбивались наружу взмокшие тёмные чёлки. Отец, высокий, стройный, молочкавый, с точёной кудрявой головой, со своей так идущей ему военной, офицерской выправкой, придающей всей его худощавой фигуре особую, бросающую стройность, одновременно и очень серьёзный, и очень взволнованный, даже несколько взвинченный, что сразу бросилось мне в глаза, вышел из кабины— и тут же принялся руководить выгрузкой пианино из кузова и дальнейшей доставкой его прямоком в дом. В самой просторной комнате— из четырёх, имевшихся в нашем доме,— для инструмента было уже приготовлено заранее определённое место. Двое краснолицых грузчиков, пыхтя, вначале спустили пианино из кузова на землю и высвободили его из дощатого футляра— будто из плена музыку освободили,— причём красные лица их за это время успели уже стать лиловато-багровыми и в воздухе от их шумного дыхания распространился кислородный запах винного перегара, а потом, в несколько приёмов, то поднимая тяжёлый груз и перемещая его на несколько метров вперёд, то опуская его для короткой передышки

на землю, но снова таща вперёд, с натугой, но, в общем-то, не особенно надрываясь, дело своё хорошо зная, благополучно подняли пианино на крыльцо, внесли в широко распахнутую для такого случая входную двустворчатую дверь, а потом продвинули в коридор и дальше, в глубь дома, в большую комнату, и там, со всей возможной для них аккуратностью, поставили его на поблёскивающий, чисто вымытый, тщательно, в несколько слоёв, недавно ещё выкрашенный отцом коричневой краской, скрипнувший от тяжести пол, возле простенка, увешанного отцовскими акварелями, на это приготовленное место. Потом, получив деньги и, в дополнение к деньгам, традиционное угощение — домашнее, приготовленное опять-таки отцом, сладкое, но крепкое вишнёвое вино, весело темнеющее в двух полных до самых краёв, самых вместительных из всех имеющихся в нашем кухонном, посудном арсенале, фаянсовых чашек, высоких и широких, матово-белых, с красными ободочками поверху, залпом опустошив эти, каждая граммов по четыреста, чашки, вполне довольные, они коротко поблагодарили хозяев и тут же удалились. Грузовик за окном зафырчал и уехал.

Новенькое пианино стояло на определённом для него месте, у простенка, между дверью в соседнюю комнату, спальню, и выходящим на соседский двор окном с отдёргнутыми шторами и открытой форточкой. Солнечный ясный свет, свет летнего утра, не струился, а изливался, обрушивался на него сразу из двух окон — южного и западного. Мы — вся наша семья — стояли рядом и смотрели на него. Крышка инструмента была закрыта. Весь его новенький чёрный лакированный корпус поблёскивал отражениями, играл солнечными зайчиками. Праздничность, радость были — в самом его виде, в его элегантных, простых, но выразительных, даже значительных в этой выразительности, потому что за ними подразумевалась, угадывалась, ждала своего часа таящаяся там, внутри, музыка, — очертаниях.

Но пианино — молчало. Нет, оно отнюдь не было немым! Звук был — там, в нём, внутри, в сердцевине его. Он только ждал выхода. Ждал — умения играть. Пианино — хотело звучать, я это чувствовал. Но — пока что ещё не решался приблизиться к нему, до того меня поразило уже само присутствие инструмента вот здесь, в нашем доме.

Отец подопрнул к пианино стул, сел на него. Отец привычным, уверенным движением открыл крышку инструмента, которая, легко откинувшись назад и мягко прислонившись к передней плоскости, уж не знаю, как её поточнее назвать, обнажила всю клавиатуру. Сами клавиши были тоже новёхонькими, поблёскивавшими, и чёрные — действительно выделялись своей смоляной чернотой, а белые — радовали чистой, почти

слепящей, белизнойю. «Украина», — прочитал я название. И, чуть ниже: «г. Одесса».

Отец между тем откинул от повёрнутой к нам теперь лакированной своей изнанкой крышки специальную полочку для нот. Ставить на неё было пока что нечего. Ноты будут — потом, вскорости. Ноты — будут, и музыка, наверное, вскоре будет, наверняка будет, зазвучит, зазвучит тогда, когда я начну понемножку играть, когда я буду учиться играть, когда я научусь играть. А пока что — пианино молчало. И мы — вся семья — молчали и ждали. Ждали — звука. Звучания. Музыка. Отец как-то свободно примерился к инструменту, опустил свои крепкие длинные пальцы на клавиши — и так же свободно дьял несколько аккордов. В их звучании я почувствовал начало гармонии. Только начало. Что же — дальше?

И отец — вдруг — заиграл. Это была уже — музыка! Музыка звучала в нашем доме! Мы — вся семья — оживились, заулыбались. Музыка! Радость! Всё это происходило в середине пятидесятых годов, летом, и погода, соответственно, стояла солнечная, тёплая, и настроение наше общее, само собой, было хорошим, а теперь оно ещё и поднималось. Мы уже готовы были ликовать. Ещё бы! Музыка! Своя музыка — у нас, в доме!

Но отец — так же, вдруг, — оборвал свою игру. Он повернулся к нам и убеждённо сказал: — Надо настраивать!

Как? Почему? Все мы чуть ли не негодовали. Ведь играет же! Звучит! Да ещё как! Зачем — настраивать?

Отец коротко пояснил нам: — Инструмент расстроен. Я мог бы его настроить сам. Но лучше пусть это сделает хороший настройщик. У него есть камертон. Он знает своё дело. Я найду такого. Есть один на примете.

Ну — надо так надо. Отцу виднее. И слышнее.

И вот у нас в доме появился этот настройщик. Это был маленький человек, подвижный, гибкий. Но не шустрый и не суетливый, нет, — какой-то очень гармоничный во всех своих движениях. Вид у него был южный. Весь облик — южный. Но не южно-украинский, каковых в нашем городе было хоть отбавляй, а другой, какой-то другой, совершенно другой, не совсем ещё для меня ясный. Малый рост. Но в фигуре всё пропорционально. Маленькие ступни ног, обутых в лёгкие летние туфли с мелкими дырочками сверху, напоминающими частую сетку. Маленькие кисти рук, изящные, почти женские, с быстро шевелящимися, очень гибкими пальцами, причём я обратил сразу внимание на тщательно, коротко подстриженные, возможно даже отшлифованные пилочкой, красивой формы, ногти, перламутрового цвета, чистые, ухоженные. Смуглое лицо. Овальное, несколько вытянутое лицо, смуглое — природной смуглотой, это не был

загар. Нос с горбинкой. Довольно крупный нос, но не грубый, не вулгарный, а скорее аристократический, с широкими, чуть вздрагивающими при дыхании крыльями, нос — как у персонажей на репродукциях картин старых европейских мастеров, которые я любил разглядывать, листая отцовскую дореволюционную «Историю искусств» Байе. Пухлые влажные губы. Ежевичные, мягкие. И — карие, большущие, обрамлённые густейшими ресницами, двумя распахнутыми веерами ресниц, подчёркнутые ещё и мохнатыми, густо-чёрными, с пробивающейся в них кое-где сединой, бровями, — искрисящиеся светом, выпуклые, широко раскрытые глаза. Над высоким, тронутым узкими морщинками, слегка покатым лбом — взлёт весьма длинных, для тех-то времён, вьющихся, непокорных волос. Артистический вид. Артистический, это уж точно, причём артистичность эта имела прямое отношение к музыке. Оказалось — итальянец. Настоящий итальянец. Просто — живёт здесь, на Украине, в Кривом Роге. Так уж вышло. Долго рассказывать. Да и зачем? Именно так миновал и пресёк он расспросы об этом.

Настройщик-итальянец времени зря не терял. Он прошёл к пианино, осмотрел его, попробовал, как оно звучит. В его жестах, в его повадках, в его движениях чувствовался отменный профессионализм. Он решительно похвалил купленное пианино: звук певучий! И принялся за дело.

Вот тогда я и увидел в его руках — камертон. Маленький инструмент этот — крохотной птичкой, легчайшей ласточкой — взлетал в его тоже неустанно взлетающей, гибкой, чуткой руке.

Настройщик извлекал из камертона — звук. Нужный звук. Необходимый. Единственно возможный. Он извлекал этот звук — и словно вкладывал его в пианино, словно отдавал его, дарил его, привносил в пианино, а заодно и в мир.

Он работал вдохновенно, даже неистово, одержимо. Он что-то мурлыкал себе под нос, бормотал, напевал. Он нагибался и выпрямлялся, качался то влево, то вправо. Он весь был в движении, в тяготении к чему-то такому, что знал он один. Он словно шёл вслед за звуком.

Да он и шёл за звуком. Он следовал за звуком — лицом своим, всюю мимикой смуглого лица, глазами, то жмурящимися, то вспыхивающими, раскрываясь, губами, подёргивающимися, то сжимающимися плотно, то приоткрывающимися, и лбом своим, и волосами, длинными, вьющимися, которые от каждого его движения свободно взлетали над головой, и бесшумно падали на шею, и светились в солнечном свете, бьющем в оба окна, и руками своими, вытянутыми, протянутыми вперёд, что-то там, впереди, нащупывающими, угадывающими, что-то там совершающими, шевелящимися, опускающимися, поднимающимися, как у фокусника, у факира, и снова устремлёнными

туда, вперёд, к инструменту, к назревающей в нём, к будущей музыке, и всем корпусом — туда, вперёд, и ещё вперёд, — вслед за звуком.

Мелькнёт в руке его птичка маленького камертона: «Ля!»

Звук вырывается из стальной птички. Звук. Тон. И опять итальянец — туда, вперёд, в работу свою, в настраивание инструмента. Слышит — звук. Идёт — за ним, только за ним.

Блеснули, зарокотали вертикально расположенные струны — внутри, под крышкой пианино, вертикальные, как на арфе, разной толщины, густо, плотно идущие, одна за другою, струны, по которым барабанили мягкие, ворсистые, ранее скрытые от глаз молоточки.

Движение за движением. Вглубь, внутрь назревавшей музыки. Музыка, которую надо настроить — как на хороший лад человека настраивают. Музыка, которую надо обеспечить — поскольку профессия такая: настройщик, — а это обязывает. Музыка, которую надо — даровать людям.

Движение за движением. Звук за звуком.

«Ля!» — взлетает камертон.

Что-то подкручивает настройщик внутри пианино.

«Ля!» — отзывается клавиша, когда он её нажимает.

Оба звука — совпадают по тону.

Взлёт — птичий полёт — мелькание камертона. Отработанный, точный удар им — по твёрдой поверхности, по крышке пианино. Будто два ласточкиных крыла мелькнули в воздухе. Будто раздвоенный ласточкин хвост промелькнул. Птичка ринулась вниз — и взлетела немедленно вверх, вместе с поднятой вверх рукою настройщика. «Ля!» — звук камертона. Чистый. Чистейший. Копирование, подкручивание в нутре инструмента. Хирургическое, медицинское какое-то.

«Ля!» — отзывается клавиша. Тот же тон!

Движение за движением. Дальше, дальше, вперёд и вперёд. Звук за звуком, — всё больше их, звуков.

Шла — работа. Настройщик — работал. Этот процесс завораживал. Я смотрел на работу итальянца, не отрываясь.

И вот настройщик — перевёл дух. Вот он, несколько торжественно даже, уселся за пианино. Взмах его маленьких рук — и раздалась в доме радостная музыка! Итальянская. Льющаяся, как свет, брызжущая светом, сияющая музыка. Чистая. Свет и тепло.

Настройщик играл самозабвенно. Похоже было, он даже не замечал никого вокруг. Он весь был — там, в найденной им, в обрётённой им, в спасённой им для жизни музыке.

Настройщик играл, полуприкрыв глаза. Играл, видно, что в голову приходило. А приходило ему в голову многое. Мелодии и темы, то знакомые,

то не оченя знакомые, то впервые мною услышанным, сменили одна другую, налетали, одна за другой,—и часто, скомкав предыдущую, принимался настройщик тут же за новую, а потом и она словно отодвигалась им в сторону, а взамен её звучала новая, бурная,—и видно было, что настройщик не просто решил испробовать, как звучит инструмент, убедиться в том, что он хорошо звучит, что отлично звучит, так-то лучше,—нет, он играл, играл очень хорошо, профессионально, и это был музыкант, весь как есть, и музыка выплёскивалась из его глаз, передавалась его рукам, и пальцы летали по клавиатуре—и пианино звучало, звучало, звучало.

Настройщик играл и играл. И вдруг он—запел.—О соли мио!—пел он.

По-итальянски пел. Настоящий итальянец!
—О соли мио!—раздавался в доме нашем голос его, итальянский, мягкий, звучный, бархатный голос, в нашем доме, где отныне есть музыка, содержащаяся вот в этом, настроенном пианино.—О соли мио!—пел он, аккомпанируя себе,—и сложные, на слух даже крупные какие-то, как всплески воды под ладонями, на реке, под солнцем, во время купания, как зелёные ветви деревьев, когда их раскачиваешь, как охапки цветов, целые букеты, только что сорванные, огромные, свежие, влажные, в полёте, с размаху взятые аккорды чередовались с переливчатыми руладами, с разливающимися под его пальцами по всей радостно отзывающейся ему и восторженно повинующейся ему клавиатуре целыми ручьями, проигрышами между куплетами итальянской песни.

Настройщик перестал играть—и обернулся к нам—всей нашей семье,—находящимся здесь же, в самой большой нашей комнате, и слушающим его игру и пение.

—Си!—сказал он по-итальянски.—Си!

И тут же, спохватившись, весь расцветший в счастливой улыбке, перевёл по-русски для нас:—Да!

И продолжил:

—Да! Хороший инструмент. Очень хороший. Звук певучий. Настоящий звук! Звук есть—будет и музыка!

Он опять просиял улыбкой.

—Вы,—обратился он к отцу,—правильный выбор сделали. Я тоже выбрал бы именно этот инструмент. А у меня есть опыт. О, поверьте, большой опыт, очень большой. Этот инструмент—долговечный. Подумать только—одесская фабрика. Прекрасный инструмент. Я рад за вас.

Отец мой был доволен. На лице его тоже сияла улыбка. Он отлучился на минутку—и вот уже снова был здесь, и в руках нёс кувшин с домашним вином, собственного изготовления, виноградным вином, из его, отцовского, винограда, разрастающегося в нашем саду и во дворе,—он нёс кувшин с прохладным, только что из погреба,

золотистым, совершенно солнечным виноградным вином, чтобы угостить итальянца. Сам непьющий, он любил угощать людей—и вином своим, и виноградом своим, и всеми фруктами и овощами из нашего сада—тоже своими собственными руками выращенными.

И мама была довольна. Улыбающаяся, светлая, как солнечный свет, хлещущий в оба окна, вся в сиянии этого света, в сиянии летнего дня, в тяжёлой короне своих отсвечивающих солнцем тёмно-русых волос, моложавая, оживлённая, удивительно была она хороша собою тогда, и говорила что-то приветливое, хорошее, доброе—улыбающемуся, ставшему вдруг рыцарственным, галантным итальянцу, и открывала буфет, доставая оттуда стаканчики, и ставила их на стол, и опять говорила что-то хорошее—всем нам.

И бабушка, тоже помолодевшая, тоже оживлённая, лёгкая, быстрая—в движениях, в повадках, в походке, взглядывала своими добрыми, чистыми, с умилённой слезинкой, глазами, и тоже говорила что-то хорошее—всем, и уже хлопотала, накрывая на стол, принося с летней кухни сюда, в дом, тарелки, вилки, ложки, ножи, закуску—обильную, как и всегда у нас.

Настройщик пригубил отцовского вина из гранёного стаканчика, и на смуглом лице его выразилось явное удовольствие. Потом он неторопливо выпил содержимое стаканчика, оторвал от лежавших на столе, в стеклянной круглой вазе на тонкой, но устойчивой ножке, сияющих светом и наполненных сладким соком, только что сорванных, нескольких крупных виноградных гроздей три-четыре ягоды, разжевал их—и видно было, что ему нравится их вкус.

—Хорошее вино! Хороший виноград!—сказал он всем нам.

—Конечно!—сказал ему отец.—Всё своё, домашнее.

Настройщик обратился ко мне:

—Я так понимаю, это ты, мальчик, будешь учиться музыке. Учись. Музыка,—тут он сделал широкий и плавный жест своей маленькой гибкой рукой,—музыка—это всё. Это сама жизнь. С музыкой—жить радостнее. Да, да, радостнее. С помощью музыки душа познаёт Творца. Это не я сказал. Так говорил блаженный Августин. Ты будешь играть на этом пианино. И ты всё скоро поймёшь. Сам всё поймёшь. Играй! Будь с музыкой вместе всегда, всю жизнь.

И он сделал ещё один жест рукой—словно благословляя меня.

Итальянец. Надо же! «Си!» «О соли мио!» Блаженный Августин. Настройщик. Мастер. Знаток своего дела. Заставляет музыкальные инструменты—звучать. Заставляет их—играть. Даёт им возможность играть. И сам ведь играет, и хорошо играет. И поёт. Да ещё как поёт!

А фамилия его—как мне нынче припоминается—была вся по-птичьи звучащая, переливающаяся, как у певчих птиц их фиоритуры, как утреннее птичье пение,—Беллини? Челлини? Что?—вслушиваюсь я в прошлое: неужели—Феллини?!

На верхней крышке настроенного итальянцем пианино—всё ещё лежал, серебристо посверкивая, маленькой вилочкой, птичкой, ласточкой, тающей в себе—звук, примостившись там, положенный туда—конечно же, ненадолго, только на некоторое время,—ласточкой, ну в точности как те, что были нарисованы на бумажных конвертах довоенных грамофонных пластинок Апрельского завода,—всё ещё лежал—положенный туда, но вовсе не забытый настройщиком,—чудесный камертон.

И вот он встаёт, итальянец. Прощается—со всеми нами, со всей нашей семьёй. Доброжелательно, учтиво, как-то даже грациозно прощается. Итальянец—здесь, у нас, на Украине, в Кривом Роге, хоть и большом, хоть и промышленном, но всё-таки провинциальном городе, пусть и хорошем, зелёном,—нет, чудесном, замечательном городе, волшебном городе, я это знаю, в роскоши наших садов, и в ясной лазури неба, в изобилии роз, и акаций, и шелковиц, и мальв, и тополей, шелестящих листвою с улицы, в окружении этой сплошной красоты, в разгаре светлого, летнего, августовского дня. Фряжский гость. Иноземец всё-таки. И говорит ведь с явным акцентом. И держится-то вовсе не так, как местные жители. Одним словом, итальянец. Первый человек в моей жизни—с иноземной кровью. И сразу же—итальянец.

И вот он подходит к пианино. И—берёт свой камертон. И я вижу, обострённо, отчётливо, зорко вижу, как этот маленький инструмент, серебристо блеснув на прощанье, словно звучащим, хранящим звук, ясным глазом своим блеснув—мне, для меня,—чтобы помнил о нём!—исчезает в кармане настройщика.

До поры до времени, конечно. До той поры, когда он снова будет извлечён на свет—чтобы настраивать другое пианино, уже совсем у других, неизвестных мне людей, тоже любящих музыку.

Моё пианино—уже настроено.

Моя музыка—уже готова звучать для меня.

Итальянец, жива музыка! И твоя, и моя.

Цело когда-то настроенное тобою пианино, итальянец! Оно стоит всё на том же месте, в родительском доме, куда хотя бы раз в году, но обязательно я приезжал. А музыка—та, которую ты вызвал к жизни, настроив наше пианино,—всё звучит и звучит.

И звук—первоначальный, важнейший—даровал ей твой, серебристо посверкивающий из глубины времени, или же памяти, а может—и вечности, маленький камертон.

«Есть особые люди среди нас, что встают, подобно холмам, и грядущее прозревают настоящего много лучше и отчётливей, чем былое».

Ну откуда она взялась, эта вспыхнувшая звездой в городской полумгле строфа, вдруг возникшая предо мною и пришедшая навсегда?

Из печали, конечно,—из этого старого, странного зеркала.

Всею ртутной, подвижную прорвой своею, подслеповатой и жуткой, донельзя, до невозможности бездонной, страшщей и всё же завораживающей, неудержимо и властно притягивающей к себе, зыблется и отрешённо мерцает оно где-то там, внутри, в такой умопомрачительной глубине и в таком невообразимом отдалении, что голова идёт кругом и всё тело охватывает беспокойная, зябкая дрожь.

Что же прячется в нём? Из каких измерений, из каких неизвестных миров доносится к нам невозможное эхо кричащей его немоты?

На каком языке говорит оно? На каких волнах, на каких частотах возможно отыскать и услышать хрипловатый голос его?

А ведь мы его слышим. Более того—понимаем. Чем? Как? Почему?

Значит, попросту нет немоты. Нет безмолвия в мире. Всё звучит, и в звучании—жизнь.

Тьма и свет, пограничные области и состояния—тоже наполнены звуком. Звук—залог выживания, выразитель продолжения и развития сущего.

Звук—злак. Из него растёт новизна. Причём корни её направлены вверх.

Тем, что вверху, питается мысль. Попробуй сдержи постижение сути!

«Корень становления человека—в небе. Небо—праотец человека»,—так твердил ещё во втором веке до нашей эры, в Китае, один мыслитель, по имени Дун Чжун Шу,—и он был прав.

Но, живущие небом, частью мы скорее подразумеваем его, нежели чтим. И тогда земное—навёрстывает упущенное, берёт своё.

Так, в чередовании дней, забываем мы не только о главном, но и о второстепенном, вообще забываем о том, что даровано свыше, существуем словно в каком-то дурмане, как под гипнозом, среди совершенно ненужных занятий и всяких забот, в долгий ящик откладываем свои начинания, замыслы, тянем с тем, что давно уже надо бы сделать, пока не спохватимся,—а до этого надо ещё дожить, вот в чём досада.

Ну а зеркало? Что с ним тогда?

Привычное для исподволь бросаемого на него рассеянного взгляда, зачастую слегка припорошённое далеко не всегда замечаемым и слишком уж редко вытираемым, легковесным, почти пуховым налётом не грубо прилипчивой, въедливой пыли, а скорее пыльцы, притянутой им к себе, как магнитом, из непрогретого воздуха, из всего этого мнимого, без рассуждений урезанного

стенами простора лишь кажущегося надёжным, а на поверку очень условного, даже призрачного людского жилья, или же покрытое откровенно густым слоем самой настоящей пыли, плотно слежавшейся и тяжёлой, полузабытое, хоть и не отвергнутое, находящееся осторонь, словно выпавшее из круга интересов, отодвинутое на задний план, оставленное на потом, а пока что обойдённое вниманием, обиженное, никем не замечаемое и, по причине жестокой невнимательности этой, незаметно втянутое, как в воронку, в монотонную прозу повседневности, катастрофически утрачивающее поэтичность, заурядно будничное, ну разве что где-нибудь сбоку, в укромном уголке, украдкой спрятавшее на память, упрямо удержавшее рядом с собою, при себе, только им одним различаемый, только им и лелеемый отголосок минувшего празднества, крохотный, полный высокого значения след, так, ничего необычного с виду, вроде бы мелочь, пустяк, скромный, простенький знак, понятный только ему и тем более для него дорогой, если честно — то драгоценный, лежит оно среди прочих вещей, заполняющих быт наш хаотично и непреложно, где-нибудь здесь, под рукой, — до поры, разумеется, до своей вдохновенной поры, до того наконец-то пробившего часа, когда оно разом вступает в игру.

И тогда, совершенно некстати, преднамеренно или случайно, всем волшебным стеклом своим, скользким на ощупь, запотевшим, туманным, всей его твёрдой, тяжёлой, но всё-таки призрачной плоскостью, то отвесной, а то и наклонной, накреньясь в никуда, как Пизанская башня, уже застывает, висит оно, онемев от решимости, обомлев от восторга, рискуя, на едва различимой впотьмах, ощутимой одним лишь чутьём, ускользающей, тающей, брезжущей грани вероятного, на хрупкой, чуть ли не ледяной кромке, на самом краешке реальности, прямо перед незримой, хотя и воспринимаемой почему-то как резко и отчётливо проведённая кем-то существующим по ту сторону от неё, пограничной, предельной чертой, за которой мгновенно встаёт и вопрошающе ждёт сама неизвестность, — и на глазах превращается в нечто живое, даже, может быть, — кто его знает? — одушевлённое, пусть и открытое только тебе.

Полустёртое, тусклое, такое огорчительно непрочное и — надо же — такое поразительно долговечное, изборождённое ломкой, извилистой сетью то едва различимых, то укрупнённых, неровной буквенной вязью расплзшихся по стеклянной поверхности и меланхолично образовавших кое-какие замысловатые арабески трещин, этих неумолимых примет разрушения, разительно несхожих, например, с плотно идущими друг за дружкой годовыми кольцами деревьев, гибкими, расширяющимися в диаметре от центра ствола к его краям, хорошо знающими себе счёт и продолжающими

увеличивать своё число в геометрической прогрессии характерными бороздками, буквально звучащими, как на граммофонной пластинке, было бы кому её завести и послушать, этими явными заметами для себя, дневниковыми записями роста, приметам созидания, — всё равно причастно оно к некоей тайне, и ничего с этим не поделаешь, и изменить этого нельзя никому.

Одним большим глотком студёной воды, сложным по составу, сразу и живой, и мёртвой, отравленной и целебной, намагниченной этой вот тайной, заряжённой прошлым, благословенной настоящей, осенённой грядущим, утоляющей жажду, хрустальной, прозрачной воды, вобрало оно в себя все суеверия мира, все недомолвки, загадки, легенды и сказки земли.

Холодным, струящимся, напоминающим лунное свечение серебром отсвечивает, каким-то беспредельным, наверное — вселенским, искрящимся эхом отзывается здесь, в тишине, в уединении сердца, в одиночестве чистой души, посредине житейской пустыни, чудесное это зеркало, это магическое зеркало, в которое, так и не смирившаяся с предопределённостью, не желающая сдаваться, выжившая и оттого безоговорочно родная, устало смотритя долгими вечерами, быть может, и постаревшая, но зато уж точно всегда нечаянная радость.

И не только из жгучей, из вещей печали.

Даже больше — из давней, матёрой, обострённо-ревнивой, очень личной, а может быть, кровной, наследной тоски, неуклюже скрываемой от окружающих, по привычке наивно таимой, но от этого лишь более очевидной, набирающей силу и власть, вошедшей во вкус, по живому режущей, застающей врасплох, изводящей умело, со знанием дела, неизменно жестокой, но порою внезапно добрееющей, что ли, по крайней мере — чуть ослабляющей чудовищное давление, хотя и не прекращающей ни на долю секунды гипнотическое своё воздействие на всё моё существо, и тогда, взамен гнёта, в качестве дара, прямо в тон поговорке «не испытать горького — не видать сладкого», доверительно приоткрывающей пыльному и чуткому сознанию какие-то невыразимой новизной изумляющие вещи: ведущие именно туда, куда надо и куда сроду не пройдут другие, непосвящённые, не ведающие о сложных наших с нею, тоской, отношениях, посторонние, чужие, одним лёгким прикосновением руки распаивающиеся тяжёлые с виду двери, за которыми — звук и цвет, взлёт и свет, поднимающиеся к откровенно новым измерениям ступени, потайные закоулки, подземные ходы под ничем о них не знающими, грузно раскинувшимися наверху городами, целые лабиринты, замаскированные лазы, узкие каналы, замшелые шлюзы, свежие родники, глубокие криницы, степные балки, хмурые яры, скрывающие ключи к ведической старине курганы, узловатыми

жилами напрягшиеся древние валы, долгою чередой протянувшиеся холмы, горные кряжи, лесистые перевалы, подёрнутые седоватой хмарью или реющие в безоблачном небе вершины, птичьи стаи, сплетенья корней, чернозём да пески, камень да глина, чабрец да полынь, и вовсе не торные, а сокровенные тропы, и неожиданно обнаруживаемые прямо у ног, ещё не исхоженные, можно догадаться — явленные дороги, чтобы идти по ним да идти, поначалу вперёд, а потом и вспять, к истокам своим, — словом, все возможные и невозможные пути в пространстве, с которым я вроде бы давно уже накоротке, и особенно во времени, где, судя по всему, с годами я всё больше привыкаю ориентироваться и всё уверенней и свободнее начинаю перемещаться.

А ещё — из желания музыки, из томленья по музыке, из ожидания музыки, — из вселенской, божественной музыки, от рожденья дарованной свыше и вечно звучащей во мне, из разрозненных отзвуков её и сближающихся переливов, из отдельных нот и летучих мелодий, из переклички разнообразных инструментов, из которых невидимые исполнители извлекают звук, выдувая его, срывая, сощипывая, получая посредством удара, вытягивания со струн при помощи гибкого волосяного смычка, любым способом, лишь бы это звучало, слышалось, воспринималось, доходило, проникало, осознавалось, из хоров и оркестров, из разраставшейся в мозгу всеобъемлющей музыки.

И, само собой, — из обрывочных мыслей, из разрозненных воспоминаний, из роя ощущений, догадок, вопросов к самому себе, сомнений, находок, взглядов в окно, шагов по комнате, прислушиваний к чему-то почти произнесённому, будто слово движется навстречу и вот-вот появится, из всего того смутного, брезжущего, необъяснимого, непонятного тому, кто подобного не переживал, из неминуемого, сложного, многообразного состояния души, которое предшествует состоянию транса.

Вот тогда-то и начинается чудо.

Вот тогда и работает речь.

И поэтому, значит, жива и прекрасна земная музыка! Для всех нас — общая, наша. Та, которая — наше всё. Та, которая — жизнь сама. Та, с которой вдосталь всего и открыл, и прозрел я, и понял.

Отца моего, художника от Бога, творца, мечтателя, фронтовика, воителя духа, отважного вестника добра, хранителя радости, давно уже нет на свете. Есть — только его творчество, да ещё — всё то хорошее, что передал он мне, внушил он мне, подарил он мне в жизни. И поэтому он для меня — жив. Давно умерла моя бабушка, но и она — удивительная, единственная — жива для меня. И дом наш, дом, где я вырос, всё так же неудержимо, как и в прежние годы, притягивает, зовёт к себе меня: приезжай! И я приезжал — и меня встречала моя седая, голубокая, драгоценная мама. Да теперь и её нет на свете. Хотя она для меня — жива.

Но многое, светлое, важное, нарушилось ныне в мире. И хаос пришёл на смену блаженной былой гармонии. И дом наш разграблен полностью. И все работы отцовские, которые были в доме, украдены. И награды, военные и трудовые, мамыны и отцовские, украдены. Всё, что было в доме, что составляло быт и уют когда-то, что доставляло радость нашей семье, поскольку было простым, привычным, тем, с чем жили мы, скромным, но дорогим для сердца и для души, причастным к творчеству, и отцовскому, и моему, что было светом любви и счастья дивным озарено раньше, — теперь исчезло. Не знаю, остался ли цел наш домашний архив. И всюду — приметы разрухи. И — дикости беспредельной. И — злобы жестокой. И сад пришёл давно в запустение. И спилены и деревья, и виноградные лозы, посаженные отцом. И наше гнездо родовое разрушено. Грустно видеть руины бывшего рая. И где оно, это желанное внимание земляков к отцу моему, воспевшему в работах своих чудесных, расхищенных ныне кем-то, родные наши края? И всё сложнее становится на родину мне приезжать. И есть надежда, что всё же над злом, над затмением временным победу одержит добро. И сам я уже и сед, и немолод, — но силы при мне, и правота моя — со мной, и поэтому я говорю открыто и прямо о том, что было когда-то и есть в теперешней яви, и с речью родной я дружен.

А музыка — та, которая в детстве ещё началась, та, с чьей помощью наша душа познаёт Творца, — не прерываясь даже на миг, живёт, разрастается — и всё звучит и звучит. И есть у меня убежденность, что музыка эта — бессмертна.